

ЧЕТКИ

1
2007

ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ



Алексей Цветков ПЯТНО • Сергей Стратановский ГОРА
САРЫ-ТАУ • Равиль Бухараев СТИХОТВОРЕНИЯ •
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЕВИЧА САНАУБАРА • Джебран
Халиль Джебран ПОЭМЫ В ПРОЗЕ • Амир ар-Рейхани
ПОЭМЫ • Ренат Беккин ЯБЛОЧНЫЙ ВАХХАБИТ •
Ирина Таварацян ИСЛАМ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА

ЧЁТКИ



Редакция журнала
Главный редактор:
Беккин Ренат Ирикович
Заведующий отделом литературы стран
Зарубежного Востока:
Башарин Павел Викторович
Выпускающий редактор:
Мусина Камия Рифатовна
Редактор:
Хасриева Галина Амировна
Корректор:
Андрева Анастасия Дмитриевна
Дизайн: *Катаров Эрик*
Верстка: *Мазо Юлия Сергеевна*

Идея: Толстой Лев Николаевич

Учредитель и издатель:
ООО «Издательский дом Марджани»

Адрес редакции:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.69. Тел.:
(095) 234-04-79
e-mail: chetki@mardjani.ru
www.mardjani.ru

Интернет-версия: www.chetki.ru

Журнал «Четки» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-28954

Редакция не предоставляет справочной информации и не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Рекламуемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Четки», а так же на сайте www.chetki.ru допускается только с разрешения редакции.

Продаж по подписке.
Тираж: 2000 экз.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, ул. Академика Хохлова, д. 11)

© ООО «Издательский дом Марджани»

Содержание

- 5 Сады волшебства
6 Интервью с Алексеем Цветковым
9 Алексей Цветков. Пятно (отрывок из романа)
12 Сергей Стратановский . Гора Сары-тау (рассказ)

- 23 Беседы птиц
24 Равиль Бухараев. Стихотворения

- 33 Послания мудрости:
34 Приключения царевича Санаубара
Пер. Н.П. Остроумова
45 Игорь Алексеев, Павел Башарин .
Об авторе перевода Н.П. Остроумове (1846–1930)

- 47 Привалы путников:
48 Владимир Волосатов. Эхо Ливанских гор
49 Джебран Халиль Джебран. Поэмы в прозе
66 Амир ар-Реихани. Поэмы
76 Мария Николаева. Послесловие

- 78 Ожерелье голубки
79 Дилляра Сулейманова. Стихотворения

- 87 Цветник тайн
84 Ренат Беккин. Яблочный ваххабт
(отрывок из книги «Другой МГИМО»)

- 92 Вода трапез
93 Ирина Табарацян. Зеленое знамя жизни: ислам в творчестве И.А. Бунина

- 99 Базилик разумных
100 Павел Башарин. «Танцуй – срыная бинтя»
(Рецензия на книгу: Колман Баркс. Суть Руми /
Пер. с англ. С. Сечива. М: Гаятри, 2007. – 672 с.)
106 Андрей Керзум. Роман об исламе
(Рецензия на книгу: Ренат Беккин. Ислам от монаха
Багиры. М: Кислород, 2007. – 240 с.)



Драгоценный читатель!

В отечественной литературе, как классической, так и не очень, сложно отыскать писателя, который бы был совершенно равнодушен к Востоку. Восток вдохновлял и преобладали воображение многих талантливых авторов. Особое, можно сказать почетное, место в русской литературе принадлежит миру ислама.

Разве можно представить Пушкина без его блистательных «Подражаний Корану», Лермонтова без пленительного кавказского цикла, Льва Николаевича Толстого без проникновенного «Хаджи-Мурата»? В русский язык еще в девятнадцатом столетии прочно вошли такие реалии, как сарадины, султаны, шахи, бедуины, дервиши, ассасины, журы, джанны, пери. Невозможно было встретить образованного человека, не знающего имена Гаруна ар-Рашида, Хафиза, Саади, Фирдоуси.

В наши дни, когда все тайное очень скоро становится явным, завеса таинственности, казалось, навсегда была сорвана с прежде недоступного Востока. Многие могут позволить себе приобщиться к миру ислама, совершив поездку в такие таинственные и непостижимые для путешественника прошлых веков страны, как Египет, Тунис, Турция. Посещая «потемкинские» бедуинские деревни или созерцая пляшущих на потеху туристам дервишей, путешественник начинает чувствовать себя с миром ислама на короткой ноге.

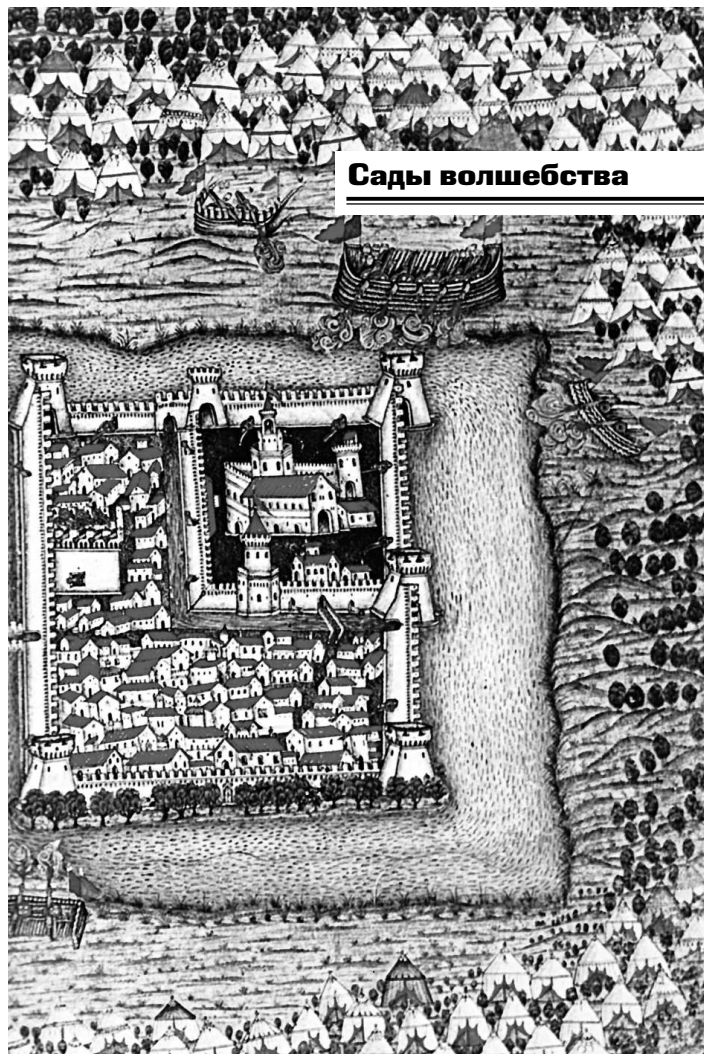
Наивное заблуждение! Разве можно судить о доме, ограничившись посещением прихожей?! Не претендуя на роль Козумбов нового направления в литературе, мы попытаемся приоткрыть читателю дверь в бесконечный, как воображение гения, мир мусульманского Востока через ознакомление его с творчеством как классиков, так и малоизвестных авторов.

И если классическая арабская, персидская и другие литературы мусульманских народов известны небольшой группе интеллектуалов, то о современной художественной литературе, написанной на русском языке, читатель, как правило, ничего не слышал. В этом нет ничего удивительного. Обществу ныне навязывают другие идеалы, среди которых нет места человеколюбию, добрососедству, терпимости и любви.

В таких условиях назрела необходимость в появлении литературного журнала, чьей генеральной линией было бы не разводить народы, а сближать их, причем привлечь их не дешевыми подаяниями, прикрытыми модным, безликим словом «толерантность», а знакомством с самобытными культурами, живущими иной раз по соседству. Не подобен ли содействующий благородному процессу взаимопонимания и взаимообогащения культур вкушающему сладостный плод истины, лежащий в основе мира?..

Как гласит легенда, незадолго до ухода из Ясной Поляны Лев Николаевич усиленно работал над идеологией и содержанием первого номера журнала, которому было присвоено рабочее название «Четки». По словам жены писателя Софьи Андреевны, Толстой хотел основать журнал, в котором бы все было «живо, человеколюбиво и познавательно». Неизвестно, во что вылился бы замысел великого старца, но покажи он этот мир 7 ноября 1910 года. В одном у редакции журнала нет никаких сомнений: если бы Лев Николаевич жил в наши дни, он непременно стал бы одним из постоянных авторов «Четок».

От редакции



Сады волшебства

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ЦВЕТКОВЫМ

Алексей, почему тебе, русскому по национальности, близка мусульманская культура?

А почему мой или чей-то ещё религиозный выбор должен зависеть от князя Владимира? Только потому, что про него снимают пафосные мультфильмы? Часто отвечают: потому что у нас общая нация христианская, культура. Но для меня любой национализм, пусть даже и не этнический, а культурно-религиозный, это сугубо языческое явление. Я не сторонник теорий заданной от рождения коллективной судьбы, вины, миссии. В кораническом монотеизме Всевышний обращается к общине верующих, то есть добровольно и сознательно выбравших эту судьбу людей, а не родившихся внутри неё, как в ландшафте.

Когда я слышу про то, что Россия — традиционно православная страна и влияние ислама в ней совпадает с границами расселения татар, дагестанцев, чеченцев, то вспоминаю о том, что во времена прихода пророка Мухаммада в этот мир не было вообще ни одной мусульманской страны или народа. Для меня кораническое единобожие это не просто база арабской и тюркской культур. Оно универсально и обращено к каждому из нас. Ислам — это вызов, который ждет того или иного ответа от каждого бьющегося сердца.

Как соотносится ислам с твоими политическими взглядами?

Я уже давно выбрал ислам важнейшей для себя религией, в том числе и потому, что он становится в современном мире языком сопротивления. Как говорил когда-то Малаколы Икс: «Я выбрал Мекку, потому что там мне не советовали подставлять вторую щеку». На всех уровнях: политическом, культурном, личном — ислам становится таким же языком несогласных, каким был коммунизм в ушедшем веке. А исламофобия сегодня — такая же гнусность и играет ту же роль, как и антисемитизм в прошлом веке. И в третьем мире, и в Лондоне, где в антиглобалистских маршах участвуют тысячи мусульман, и даже в США, где ислам преимущественно негритинский, единобожие — пароль сопротивления. Лидер «Нации ислама» — Фарахан, единственный в Штатах, кто прямо требовал отставки Буша и немедленного прекращения иракской войны.

Сорок лет назад многие западные интеллектуалы обращались к буддизму, потому что эту религию исповедовали во Вьетнаме, зоне прямого сопротивления империализму. Сегодня нечто похожее повторяется с обращением неконформистов всего мира к Корану.

Имеет ли интерес к исламу на Западе лишь политическую основу?

Другой причиной интереса к исламу было прямое совпадение многих требований единобожия к искусству с установками крайних авангардистов, абстракционистов, модер-

нистов. Иконоборчество ислама, роль знака, а не образа, отрицание идолов «похожести» и «узнаваемости» почти буквально изобретается заново близкими мне авангардистами двадцатого века. Не берусь судить, есть ли тут влияние или совпадение по интуиции. В музыкальном смысле на меня повлияла группа «Муслимагуз». Что ещё раз подтверждает, что любое явление, и ислам в том числе, интересуют меня больше, когда находятся вне отведенных им «пределов» и «границ». Собственно, история явлений от простого существования и отличается этим переходом отведенных границ, волей к экспансии.

Когда я спрашиваю себя: ну а если бы те же художественные установки содер- жались в другой религии, что тогда? то отвечаю так: это потребовало бы другого мира с другой историей и другого Бога, а у нас с вами один Всевышний и одна все- ленная.

Как повлиял ислам на твоё творчество?

Я не пишу специальных мусульманских текстов, наполненных минаретами и мечетями. Но я хотел бы, чтобы некоторые мои тексты сами по себе, по строению, по методу, были выстроены по тем же правилам, что и мечети. Даже если этого никто, кроме меня, не заметит, для меня это очень важно. А чтобы узнать, как выстроены мечети, я открываю Корбена, Генона или Буржарта. Так мне понятно.

Недавно я неожиданно для себя обнаружил социальную концепцию Гейдара Дже- маяя в недавнем романе Пелевина про вампиров. Там полно как косвенных, так и пря- мых отсылок — читат к лекциям, которые Гейдар читал в МГУ и которые выложены в Се- ти. И про гамур, постоянно воспроизводящий у потребителя ощущение первородного греха, и про скрытую мировую аристократию, действующую через промежуточное зве- но хадеев, и про древо жизни, и про выкачивание энергии и времени из толп, разделен- ных для удобства по национальным загонам, и про вампирскую науку достижения успе- ха. Перед нами художественная аранжировка джемальских лекций, делающая их послание более популярным, хотя и не столь последовательным, как в первоисточнике. Кстати, ислам — единственная религия, понятиями и именами которой Пелевин не бе- рется играть в своей книге и прямо это оговаривает.

Судя по всему, Джемаль оказал на тебя большое влияние.

В личном смысле диалектика единобожия стала для меня очевидной после общения с Гейдаром Джемалем и работой с его книгами в «УльтраКультуре», где я был редакто- ром. Уже потом было знакомство с другими авторами-мусульманами, участие в кон- курсе «Исламский прорыв» с документальной повестью о современном Стамбуле. Общаясь с мусульманами в Лондоне, Париже, Индии, я понял, что Коран обращает- ся к самым разным характерам, типам психики. Кто-то найдет себя в суфизме, а кто- то становится ревностным салафитом. Хотя суфизм — это очень условное понятие, на- пример, Аль-Халадж, Араби и Идрис Шах — очень разные личности, но у них остает- ся всегда общее поле — единобожие, в котором каждый сможет отыскать себе дело и стиль жизни.

Что бы ты посоветовал тем, кто делает первые шаги на пути к единобожию?

Нужно научиться слышать своего внутреннего имама. Он говорит с каждым из нас. Есть тысячи способов не слышать его голос: алкоголь, светская тусовка, растворение в семье

или работе. Нужно начать с очистки сознания от этих помех, с самоочечения от джахилии, с обращения к смыслу вещей. Смысл — это связь между частным явлением и всеобщим его значением. Всевышний дал вещам бесконечное число смыслов, и мы должны обнаружить те, которые наиболее важны для нас, и перевести их из потенциально-ного в актуальное состояние.

Недавно в СМИ обсуждался вопрос о принятии директором издательства «Ультра.Культура» Ильей Кормильцевым ислама буквально перед самой смертью. Ты хорошо знал Илью. Хотелось бы услышать твое мнение.

Я вполне допускаю, что так оно и было, в Лондоне у Илии были близкие друзья-мусульмане, но в любом случае я не строил бы на этом никаких медиа-спекуляций и рекламы. В данном случае главное, чтобы ислам принял Илью, а не наоборот. А что касается последних дней его жизни, эта тайна станет явной в Судный День.

Беседовал Ренат Беккин



Алексей Цветков. ПЯТНО (отрывок из романа)

Глядя на киблу и повторяй: «бисмилляхи рахми рахим». С каждым повтором кибла будет делаться ближе и больше, а ты останешься таким, как был. И вот, после девятнадцатого повтора кибла уже обступит, станет больше твоего поля зрения, ты внутри. Таково значение буквы «Джим», — подсказывал мне в самолете бородатый пассажир, отказавшийся вчера целовать надгробие Руми, чтобы не сделать мрамору шекотно и не расмешить могилу.

Решение стать ты принял на диване, мягком, как подушка большого пальца или как облако, над которым полетишь через час. Слушая известную песню, название которой наконец перевёл: «Туфелька, слишком маленькая даже для Золушки».

В аэропорту, найдя единственное правильное место, глядя со второго на первый: там бегут по воде фонтана и по мрамору красные буквы шыверт-навыверт. Оригинал, то есть быстрой и красной строки, не видно. Только отражение.

Ты принимал это, одно и то же, решение много раз, целый день. Всякая обстановка казалась идеально подходящей, чтобы запомнить её навсегда вместе с этим внутренним событием.

Огненная на ощупь мелочь, возвращенная шофером маршрутки, — самое вспоминаемое о последнем попадании за границу. «Ем голову» — вырезано на шипастой булаве султана. Ты узнал перевод от туриста, который часто у всех спрашивал, даже если ничего вроде нигде написано и не было: «Вы не знаете, что там за надпись, на каком это языке?». Языки он учил всю жизнь, а стоящие надписи заносил в свой карманный «хефт» не доверяя электронике, которая сама себя может стереть. Утверждал, что видел могилу философа с эпитафией: «Поумничал и будет!». Впрочем, дело тут, конечно, в переводе. На родном языке философа это, наверняка, звучит приличнее.

Турист искал рекомендованную путеводителем фреску: Саломея в цыганской шали и с головой пророка на подносе кружится перед царем. Царь закрывает лицо ладонью, так нравится ему танец, а безголовое тело крестителя растворяется в горах и в волнах.

Дальше вы отправились в Болгарию, к русалке с русским лицом на вывеске ресторана. Есть на дичающем болгарском курорте маэстро Богданович, он пожил, выпивает крепко и играет на свежем воздухе любой репертуар ещё со времен брежневского расцвета этого советского эдема. Играет на своём «пиано» у минеральной воды, среди факелов и белых багдахинов в почти одиночестве, закрыв глаза, взмахивая седой пьяною головою. Ты ничего не знаешь более лирического, чем «Представь» и «Да будет так» в его исполнении. Поэтому ты подошел и записывал на мобильный, чтобы он теперь звал тебя именно таким звуком. Тебе нравятся эти песни, только когда вспоминаешь маэстро Богдановича. Над ним летают бражники во мно-

жестве, их рай — захваченный цветами кратер высохшего фонтана. У них рдеют, словно угли, глаза, если их поймать, и царапавые лапки. Маэстро Богданович не видит бражников. Он играет вслепую «Ромео и Джульетту», «Спартак — Чемпион» «Дубинушку» и ещё нечто столь знакомое, но названия нет. Ему никто не хлопает. Некому хлопать, кроме бражников, крыльями. Слегка тянет с моря шашлыком и, конечно, розами. Ты рассматривала там немецких пенсионеров, улыбающихся всему отовсюду. Им было примерно по шестьдесят. То поколение, которое ты считала самым крутым и счастливым в ушедшем веке. Пробовала разглядеть в их механических улыбках шестидесятые, молодость: симпатично Джетгера к дьяволу, студенческие бунты Руди Дучке, новое кино Фассбиндера и Годара, секс под деревьями на траве городских бульваров. «Кто помнит те десять лет, того там не было», — повторялась в голове дурацкая поговорка. Общественный договор между поколениями был ненадогад разомкнут, и память ничего не записала. Немецкие пенсионеры подтверждают эту мудрость всем видом. Носили панамы, шорты, посредственное серебро, всегда пили пиво и обсуждали только рестораны. Любой из них мог изучать когда-то скандальные прокламации с тем же удовольствием, с каким сейчас читает рыбное меню. Ты воображал, пожилая фрау подносит к носу нечто иное, чем этот молюск. Устав представлять, забыв, к чему это тебе, оставив всё как есть, шел ночью в заброшенную беседку на белую скалу. Там, показав ладони небу, ты однажды сказала единственную известную тебе молитву, по-арабски, выученную на спор, давно. Откуда-то была уверенность, что молиться стоит только на чужом языке, без знания перевода. И как только ты закончила свою неведомую просьбу, в облачном небе над тихим морем вспыхнули два белых шара и стали вращаться, как дервиши в круглых платьях. Это включились береговые прожекторы, шупающие ночную даль. Ты понял про прожекторы примерно через секунду. Примерно секунду ты жил, зная, что мир — весь обступивший пейзаж — есть временное недоразумение между тобой и Всевышним, что здесь нет никого, кроме Всевышнего и тебя, оставляющего ладонями светлые живые отпечатки на небе.

Когда маэстро Богданович уходит, манерно поклонившись темноте, в траве вокруг бассейна просыпаются ночные оросители и играют без свидетелей, сами с собой. Брызги попадают на лампы, и от освещенных кустов валит пар. Струя трогает скользкую башню, сложенную из белых топчанов и шуришит на весь курорт никому не знакомый звук, пластиковый шепот. Вода волнуется, обыскивает, мнёт перепутанные кроны кипарисов, целится и попадает в большой зонт, отчего тот начинает вращаться всё быстрее, в беззвучье распространяя скрип. Таков должен быть фонтан Стравинского, о котором ты впервые прочёл в словаре и который ты впервые увидел по телевизору.

Я приехала сюда узнать больше об исчезновении господина. Его жена, спустившаяся с ним в подземную мечеть Иераалты, видела, как он зашел за колонну, и не видела, чтобы он где-либо появился. Обращения в полицию и проверка мечети ни к чему не привели. Жена господина всё время говорила о своём ребенке, оставшемся неизвестно зачем без отца, и подозревала во всем имама. Имам вообще дела вид, что не понимает наших вопросов, и навязчиво предлагал мне купить фото изразцового интерьера, михраба и священных гробов Иераалты, раз уж мне так нужны «подробности». На пушистом ковре криминалисты не обнаружили никаких следов. Имам заверил, что пылесосит лично каждый день. Я хотел знать точное, официальное число колонн в мечети, не стала

ли их, с исчезновением господина, одной больше или одной меньше? Но колонны оказались нигде не учтены.

Я шел, размышляя, не пора ли поискать господина в одном из разукрашенных гробов-реликвий, когда увидел огонь и людей с флагами. Это был пожар. Горели три деревянных дома на загнутой вверх улице, но люди торопились сюда не с ведрами, а с флагами и дружно шумели теперь, размахивая своими доскутами на фоне пламени. Делали ветер.

Телевизор в отеле принимал канал неизвестной мне страны. Там начиналось нечто похожее на Олимпиаду, с восторженным закадровым голосом. Шерена высоченных парней в спортивных трусах и майках передавали друг другу с рук на руки голого карлика с факелом в руках. Я не стал ждать, чем кончится, и переключился скорее, узнав огонь в руках карлика — тот же, что грел меня только что на загнутой улице.



ГОРА САРЫ-ТАУ

В рассказе использован один из сюжетов татарского эпоса «Идегей»

Сергей Стратановский

*Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.*

(А. Блок. На поле Куликовом)

1.

— Великий хан, сеид Ахмат, вернулся из Укека и хочет видеть тебя.

Хан Токтамыш только что поднялся с молитвенного коврика и, услышав эти слова стража порога, поспешил к выходу из Золотой юрты. Согласно обычаю хан должен был сам встречать сеида как человека, знающего законы и волю Аллаха.

Во дворе Алтын Таша — Золотого двора, перед которым стояла Золотая юрта, Токтамыш увидел две кибитки: одну богатую, принадлежащую сеиду, и другую, гораздо более скромную. Кибитка сеида была из белого войлока с нашивкой — зеленым полумесяцем, обшитым жемчугом. Арбакеш, сидящий на козлах, был в атласном зеленом кафтани, правда, сильно запыленном после долгой дороги. Вторая кибитка была серой, и ее арбакеш тоже был в чем-то сером и невзрачном. Токтамыш подошел к белой кибитке, откинул полог и помог сеиду Ахмату сойти на землю, а затем, следуя обычаю, поцеловал ему руку.

— Я не один, сегодня, великий хан, — сказала сеид Ахмат, — со мной бий Дюрмен из Укека. У него дело к тебе.

— Я знаю бия Дюрмена. Он храбрый воин и честный человек. Что у него за дело?

— Казнили его сына Урмана. Он связал палача и привез к тебе на суд, великий хан.

— Пусть появится перед моим лицом.

В серой кибитке зашевелились, и из нее вылез бий Дюрмен, человек почтенного возраста, а за ним вслед вылез подросток лет тринадцати-четырнадцати, со связанными руками. Подросток испуганно уставился на Токтамыша.

— Это? — удивился Токтамыш.

— Он самый, великий хан, — подтвердил бий Дюрмен. — Он отрубил голову моему сыну Урману. Проходите ко мне. Сейчас же начнем суд.

Токтамыш вместе с сеидом вернулся в юрту, а бий Дюрмен, взяв мальчика за шиворот, поволок его к порогу. Там он отвязал свой меч и положил его слева от входа.

— Развяжи мальчика, бий, — сказала страж порога.

— Нет, — возразил Дюрмен. Он убийца моего сына и недостойн жалости.

Страж откинул полог, и оба, Дюрмен и его пленник, вошли к хану. Ханская юрта была из белого войлока и называлась Золотой, поскольку держалась на золотых столбах и была обшита множеством золотых бляшек. В юрте находился деревянный трон, оббитый серебром — его хан брал с собой в походы, а главный трон, оббитый золотом, был во дворце, где Токтамыш принимал иностранных послов. Когда Дюрмен и мальчик вошли, Токтамыш уже сидел на троне, справа от него на длинной лавке сидели сеид Ахмат и карани — люди знатных родов, с которыми хан держал совет и правил суд.

— Развяжи мальчика, бий, — приказал Токтамыш. Дюрмен повиновался.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Бекет.

— Почему ты, Бекет, убил сына бия Дюрмена?

— Я не виноват, великий хан. Это Кубугыл повелела казнить Урмана.

— Кубугыл? Сын Джантимира?

— Да, великий хан.

— Этот Кубугыл был непочтителен со мной, когда я проезжал земли мангытов. Он дерзкий и своенравный юноша. Но в чем был повинен Урман?

— Он воровал деревянных лошадок у благородных ребят. Их привезли к нам русские купцы, и многие знатные люди купили их для своих детей. А Урман захотел иметь у себя дома целый табун и стаа crust. Три раза ему это удавалось, а на четвертый он попался, и тогда Кубугыл собрал нас...

— Кого это, нас?

— Благородных ребят, великий хан. Кубугыл объединил мальчиков из знатных семей в союз и стаа нашим атаманом. И он попросил бия Бурлюка учить нас стрельбе из лука и владению мечом.

— Ты слышала, сеид? — обратился Токтамыш к сеиду Ахмату.

— Он опасен, этот Кубугыл, — ответил Ахмат.

— Продолжай свой рассказ, Бекет.

— Кубугыл собрал нас и сказал, что Урман должен быть казнен, потому что таков обычай наших предков. Потом он отозвал меня в сторону и сказал:

— Бекет, у тебя твердая рука. Ты лучше других ребят владеешь мечом. Поручаю тебе сделать это.

Токтамыш задумался. Он понял, что мальчик только выполнил приказ Кубугыла и казнить его не за что. Но своеволие сына Джантимира тоже нельзя было оставить без внимания. — Что ты скажешь об этом, бий Кутуз? — обратился он к одному из карачей, немногочисленному уже и заслуженному воину.

— Скажу, что Кубугыл был прав. Он поступил по обычаю и по закону твоей державы, великий хан. Украшавший коней должен быть казнен.

— Так ведь это были не настоящие кони, — возразил Токтамыш.

— Это следует вырвать, когда оно еще неокрепший росток. Если дать ему окрепнуть, оно разрушит твою державу, хан.

— Великий хан — вмешался бий Дюрмен, — я всегда был твоим верным слугой. Я лишился единственного сына. Пусть этот мальчишка заплатит своей головой за голову Урмана.

— Бий Дюрмен, — сказала Токтамыш, — ты всегда верно служил мне и я понимаю, как велико твое горе. Но наказание не должно быть подобно злодеянию, иначе не будет справедливости в моей державе. Пусть сеид Ахмат скажет, как наказать мальчика.

— Полсотни ударов кнутом, великий хан.

— Пусть будет так, — сказала Токтамыш. — Если он выдержит полсотни ударов и останется жив — значит, такова воля Аллаха.

Дюрмен был явно недоволен таким поворотом дела, но не посмел перечить хану и только попросил разрешения присутствовать при наказании.

— Нет, — сказала Токтамыш, — тебе, бий, следует отдохнуть после дороги. Мой слуга проводит тебя во дворец. Останься у меня на несколько дней — я давно не видел тебя. Дюрмен поклонился и в сопровождении ханского слуги вышел из юрты.

— Сеид Ахмат, — сказала Токтамыш тотчас после его ухода. — Этот мальчик не выдержит полста ударов кнутом. Если он умрет, мангыты затаят злобу на нас.

– Мы обязаны его наказать, великий хан. Иначе Кубугыл решит, что мы одобряем казнь Урмана.

– Ты прав, сеид. Предлагаю наказать десятью ударами кнутом и отпустить домой.

– Но что мы скажем Дюрмену?

– Дюрмену мы скажем, что Бекет получил полсотни ударов и по воле Аллаха остался жив.

Сеид Ахмат согласился. Саута увел Бекета, чтобы рядом, за Золотой юртой, наказать его.

Хан Токтамыш занялся с сеидом и карачами делами державы, а когда саута возвратился, спросил:

– Он кричал?

– Нет, великий хан. Из его рта не вылетело ни единого звука.

– Значит, когда станет азаматом, будет хорошим воином. А теперь скажи: отправит ли завтра утром какой-нибудь караван в Укек?

– Да, великий хан. Бухарцы завтра поутру покидают твою столицу и направляются туда.

– Хорошо. Отведи к ним мальчика и попроси доставить его домой. Бию Дюрмену мы скажем, что он бежал.

На следующее утро Бекет с бухарским караваном покинул Сарай-Берке.

2.

Место казни было за городом на берегу Идиля у горы Сары-тау. Там когда-то, по рассказам стариков, находился таяк – жертвенный камень, на котором приносили в жертву первенцев от стада. Было это в давние времена, когда мангыты еще не приняли веру пророка Мухаммеда и поклонялись собственным темным богам. Теперь здесь была плаха, на которой отрубали голову нарушившим закон и обычаи предков. Было раннее утро, солнце только что поднялось над Идилом и осветило склон горы. Перед плахой, уткнувшись в нее обреченным лицом, стоя на коленях со связанными руками Урман. Поодаль в напряженном ожидании стояли ребята из благородных семей, а перед ними, непреклонный и властный, с секирой на плече – Кубугыл.

– Подожди, Бекет, – приказал он.

Мальчик подошел к атаману, и тот вручил ему секиру.

– У тебя твердая рука, Бекет, – сказал он. – Именно ты должен сделать это.

Бекет почувствовал, что ноги и руки его словно одеревенели, но он приказал себе быть мужчиной, подошел к Урману и стал медленно поднимать секиру. В этот миг словно какая-то молния прошла по всему его телу, он глубоко закричал и ...проснулся.

Проснулся он в родительском доме, в большой горнице, на лежанке, окаямлявшемся три ее стены. Разбуженная его криком около него столпилась вся семья: родители, братья, сестры и другие родичи.

– Ты перепил тарусуна? – спросил отец.

Этого, ударяющего в голову молочного напитка, вчера действительно все выпили много, празднуя счастливое возвращение Бекета из Сарай-Берке в Укек и славя справедливый суд хана Токтамыша. Особенно налетал на него пришедший в гости бий Бурлюк: мальчик был его любимым учеником.

– Мне снился плохой сон, – сказал Бекет. – Тарусун тут не причем.

– Тебе снилось, что тебя казнят?

– Не меня, Урмана.

– Урман заслужил смерть, тебе не надо жалеть о нем.

На следующую ночь все повторилось. Бекет снова кричал и бился в припадке на лежанке. Утром отец пошел за советом к мулле.

– Это злой дух в него вселился, – сказала мулла. – Надо изгнать злого духа, бий. Возьми баялыч и окури им горницу на заходе солнца. И вот тебе плат, накроешь им Бекета перед его сном.

Он показал плат с вышитыми на нем арабскими письменами.

– Что здесь вышито? – спросил отец.

– 113 сура Корана. Она изгоняет нечистых духов.

Однако ни трава для окуривания, ни плат не помогли. Припадок был еще более сильный, чем прежде. На утро, когда мужнины плли кумыс в юрте, стоящей во дворе дома, один из братьев Бекета предложил отправить его на север, в Атрыч, к известному каму Баяну, чья слава целителя шумела по всей Орде.

– Мулла будет недоволен, – возразил отец. Но сыновья все-таки уговорили его, и было решено отправить Бекета в Атрыч с ближайшим караваном. Когда поднялся с ковра и стали выходить из юрты, Бекета дернул за рукав русский раб Илья, прислуживавший за трапезой. Это был увалень богатырского сложения, обычно малоразговорчивый.

– Останься, Бекет. Я скажу тебе кое-что.

Бекет остался. Илья сначала допил из деревянных чаш остатки кумыса, (их полагало оставлять прислужнику), а потом сказал:

– Я знаю, почему ты кричишь по ночам. Тебе снится, как ты рубишь голову Урману.

– Да, – подтвердил Бекет.

– На тебе грех. И кам Баян не поможет тебе, – слово «грех» Илья произнес по-русски.

– Что это значит, грех?

– Грех – это кровь Урмана, пролитая тобой. Эта кровь не исчезла – она мучает тебя и будет мучить и дальше.

– Что же мне делать, Илья?

– Замоить грех. Но сделать это можно только у нас на Руси, в монастыре.

– А что такое монастырь?

– Монастырь – это место, где живут люди, посвятившие себя Богу. Они молятся за нас, за наше спасение. Я жил в деревне рядом с таким монастырем. Его игумен, отец Иосиф, примет тебя, если ты обратишься к нему.

– Но как я попаду туда?

– Ну, это несложно. Сейчас в Укек приехали русские купцы с гостыбой. Они как раз из этих мест. Я договорюсь с ними, и они возьмут тебя с собой обратно. А родным скажешь, что они везут тебя до Атрыча.

– Но как я объясню, что мне нужно? Я ведь не говорю по-русски.

– Зато отец Иосиф говорит по-татарски. Говорят, что до того как стать иноком, он жил в Сарай Берке с молодым князем при ханском дворе.

Бекет задумался, взволнованный предложением русского раба. А потом вдруг, неожиданно даже для себя сказал:

– Послушай, Илья. Ведь ты очень сильный человек, настоящий богатур. Помнишь, бий Бурлюк предлагал моему отцу выкуп за тебя, он хотел, чтобы ты стал наемником в войске хана. Но ты отказался тогда. Почему? Разве тебе не нравится вольная жизнь?

– Нравится, конечно. Но сыпал я тут в Укеке такую вот быль. Давно это было, в те еще времена, когда хан Токта воевал с ханом Ногаем. А воевали они за то, кому из них править в Золотой Орде. Токта разбил войско Ногая и рассеял его. Ногай бежал, и его стал преследовать русский наемник. Ногай был уже стар и, почувствовав, что силы оставляют его, обратился к наемнику.

— Не убивай меня, — сказал он. — Я немощен и не могу сразиться с тобой на равных. Не убивай меня, отведи меня к Токте.

Но наемник убил его и отрубил ему голову. Эту голову он принес к Токте, надеясь на похвалу и награду.

— Как ты убил Ногаю? — спросил Токта.

Наемник рассказал.

— Мерзавец! — закричал в ярости Токта. — Ты посмел убить старого человека, прошившего о пощаде. Не награду ты заслужил, а смерть.

И наемника казнили.

— Ты боишься, что с тобой могут поступить также, — спросил Бекет, но Илья ничего не ответил. Обещание свое он сдержал и договорился с русскими купцами, что они отвезут мальчику на Русь. Через несколько дней, ранним, тревожным утром Бекет прощался с родными и бегом бурдюком на берегу Идилы, у купеческих струев. Дул холодный ветер, и над Идилем висела гнетущая черная туча. Ему ждали выздоровления, просили скорее вернуться домой, и было невыносимо тяжело врать, что он скоро вернется, избавленный камом Баяном от мучившего его злого духа. И только когда струи уже далеко отплыли, и гора Сары-тау стала едва видна, Бекет окончательно понял, что никогда больше не вернется в Укек, понял и заплакал как маленький. Ровно через полмесяца купеческие струи пересекли западную границу Золотой Орды.

— Вот и Русь, — сказал один из гребцов.

3.

Русский город, куда купцы привезли Бекета, раскинулся на берегу Идилы, который был здесь не таким широким, как на его родине. На холме возвышался белокаменный кремль, где, как сказали Бекету, жила князь, а сам город был весь деревянный, в отличие от каменно-саманного Укека. Размерами он был явно больше Укека, но, конечно, меньше Сарая-Берке с его восьмьюдесятью улицами и прохладными садами. Купцы подлабыли к большому базару на речном берегу и стали выгружать товары. Бекет простился с каждым из своих спутников, а молодой купец, с которым он подружился во время плаванья, взялся показать ему монастырскую лавку. Было жарко, и Бекету хотелось пить, но к его удивлению на базаре не было ни одного водомета. Узнав, чего он хочет, молодой купец повел его к мужику, торгующему каким-то напитком. Напиток оказался освежающим и слегка кислотоватым, впоследствии Бекет узнал, что это был квас. Лавку, где старший, но бойкий монах торговал лавскими монастырскими рукоделиями, нашли быстро. Бекетов спутник стал что-то объяснять монаху и, хотя за полмесяца плаванья мальчик стал понимать русскую речь и даже говорить по-русски, многие слова в их разговоре были ему непонятны. Во время разговора старик с любопытством смотрел на орденика (так они его называли), а потом, собрав нераспроданные лавги и заперев лавку, сказал Бекету, что проводит его в монастырь. На прощание Бекет обнял своего друга, выразив надежду, что они еще увидятся, и последовал за монахом. Недавно прошел дождь, и на городских улицах стояли широкие солнечные дуги и сохла грязь, в которой копошились куры. Там и сами за заборами вспыхивала бузина. Старик, шедший впереди, ловко выбирал места посуше и стоил же ловко перепрыгивая через дуги. При этом он непрерывно что-то бормотал себе под нос, то ли это была молитва, то ли он просто разговаривал сам с собой. Как-то сразу город кончился, начались широкие дуги, а за дугами стали видны холмы, поросшие лесом.

— Раменье, — сказал старик, показав на лес. — А за ним уже и обитель.

Когда дошли до леса, дорога стала подниматься в гору.

— Близко теперь. Вон там святая Параскева, как раз на повороте, а за поворотом — ружкой подать. У Параскевы и отдохнем, — продолжал старик.

Впереди, где дорога поворачивала влево, стоял столб с иконой под кровелькой. Внезапно из леса к столбу вышли два инока с вязанками и, сбросив их на землю, сеи на бревно рядом с Параскевой.

— А вот и игумен наш, а с ним и отец-келарь.

Когда поравнялись, старик подошел под благословение к высокому иноку с жестким и властным лицом, всем своим видом более похожее на воина, чем на молитвенника. Бекет сразу догадался, что это и есть отец Иосиф, о котором ему говорил Илья. После благословения Бекетов спутник показал на него.

— Вот отрок агарянский, хотящий вкусить нашего меду.

Игумен испытующе посмотрел на мальчика.

— Откуда ты? — спросил он по-татарски.

— Из Укека.

— Мангыт?

— Да.

— Почему решил прийти к нам?

— Грех, — ответил Бекет русским словом, услышанным им от Ильи. — Я был палачом, — пояснил он.

Отец Иосиф не удивился.

— Ты правильно сделал, что пришел к нам. Только мы и можем помочь тебе. Поидем — будем жить у нас.

Игумен и отец-келарь встали с бревна, перекрестясь, поклонились образу святой Параскевы и снова взирали на себя вязанки хвороста.

— Дай я понесу твой хворост, ата, — предложил Бекет.

— Нет, — остро отрезал отец Иосиф. — Это послушание, — добавил он по-русски.

— Тебе кто-то повелел делать это, ата?

— Нет повелел.

После Параскевы дорога повернула влево и круто пошла вниз. Вскоре справа от дороги, за зелеными сетями берез, засверкало озеро в просветах между стволами, на том берегу стал виден монастырь, сказочно прекрасный, купающийся своими куполами в блаженном небе. Чувство приближающегося праздника и в то же время какой-то непонятной тревоги охватило Бекета. Он почувствовал, что начинается для него новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Дорога спустилась к озерному берегу, пахнущему тиной. У самой воды стоял какой-то черный сруб с одним окошком. Старый инок дернул Бекета за рукав:

— Вот мыльня чертова. Бес в ней живет.

Игумен и келарь, шедшие впереди, резко обернулись:

— Ты что — видел его? — спросил отец Иосиф.

— Я-то нет. Другие видели.

— Тогда и не говори, что бес...

Дорога стала петлять среди густой травы, приближаясь к монастырю, и, наконец, путники вошли в большие деревянные ворота и очутились на площадке перед храмом. У храма уже собрался народ: монахи, богомольцы, крестьяне из окрестных деревень. Бекет сразу заметил в толпе ребят — одного своего возраста и других помладше — это была голышья — сироты, живущие при монастыре. Отец Иосиф и келарь сбросили хворост и подошли к бочке с водой. Рядом с бочкой стоял послушник с ковном и полтентцем. После благословения послушник подал на руки игумену, келарю, а затем и старому монаху.

— Полей и ему, — приказал игумен, показав на Бекета.

Бекет подошел и увидел, что помятый мальчик смотрит на него ненавидящим взглядом. Он протянул руки, а послушник как бы невзначай плеснул воду ему на ноги. Отец Иосиф поморщился.

— Полей снова, — сказал он и, когда послушник поила как надо, добавил. — Будешь наказы.

Все вошел в храм, и началась служба. Бекет был ошеломлен. Храм с множеством свечных огней и непонятных изображений на стенах и досках показался ему волшебной пещерой из сказки. Особенно впечатлительно пение, хотя пели на церковном языке и почти все слова были непонятны. После службы все, кто жил в монастыре, с пением «Хваля душе моя, Господа» отправился в длинный деревянный дом — трапезную. Там быстро были накрыты три стола: один для братии и послушников, другой для трудящихся и странствующих, а третий, небольшой, куда и усадили Бекета, — для голышны. Зажали лампаду в углу перед образом Богородицы, и молодой монах, встав рядом с ним, стал что-то читать по книге на том же малопонятном языке; как впоследствии узнал Бекет, это было житие святого, чтимого в этот день. Сама трапеза оказалась скудной: гороховый суп с четвертинкой хлеба и кружка уже известного ему кваса. Потом, правда, подали еще и молочную кашу на два стола, кроме монашеского. Разговаривать во время еды запрещалось, что явно тяготило голышню. Но они придумали игру, вероятно, повторяющуюся каждый день: как только монах-воспитатель, старец для голышны, закрывал глаза (это клонило в сон), множество хлебных мякишек устремлялось в потолок и вся голышня смотрела, чей мякиш прилетится к потолку. После трапезы с пением «Коль возлюблены селения Твоя, Господи сила» все вышли во двор. Отец Иосиф подошел к Бекету и велел ему идти с ним в его келью.

Кельи в монастыре были неказистыми срубями с одним окошком, и только у отца игумена келья была двуконной. У большой печи лежали свежо пахнущие березовые дрова. Перед образом Богоматери-Путеводительницы горела лампада.

— Садись, рассказывай, — приказал отец Иосиф.

Бекет сел на лавку и начал рассказ. Когда он кончил, игумен, немного помолчав, сказал на этот раз по-русски:

— Зверонравие агарянское. Медяной лоб ваш Кубуты. Но придет срок — расплавится он в утробе огненной. А тебя, отрок, Бог узрел. Живи пока у нас и жди знамения, что Господь наш тебя простил. А как будет знамение — сразу примешь святое крещение.

— Что значит крещение, ата?

— Как тебе объяснить... Вот видел ты сегодня баню у озера. Там наши иноки моются. Правда, есть у нас и такие, что не моются: говорят — мыться — беса тешишь. Нестинно думать так — тело ведь, как и душа, — от Бога. Так вот бани эта — внешняя, телесная, а есть баня духовная. Она то и называется крещением. Все грехи смывает. Как царь Давид пел о Господе: «Омыши мя и плаще снега убелюся».

— Скажи, ата, а после того, как я крещусь, смогу я вернуться в Укек?

— Нет, никогда. С сегодняшнего дня обратная дорога для тебя нет. Ты примешь свет в сердце, а домашние твои останутся во тьме.

— Но ведь они тоже верят в Бога?

— По-разному можно верить. В Бога верят, а сердцем — зверонравны. А Господь не одной веры хочет, а еще и любви, и надежды.

— Но если русская вера самая лучшая, — не унимался Бекет, — почему же вы платите дань нашему хану?

Отец Иосиф задумался.

— Не ты первый задаешь этот вопрос, — сказал он. Об этом меня спрашивал и ваш сенд Ахмат, и сам хан, когда я с молодым князем был в столице вашей — Новом Сарая. Тогда я не знал, что ответить, а теперь знаю. Мы, русские, работники одиннадцатого часа и призваны Господом в конце времен. У моравы, у зрян, у пермяков — лесное сера-

це, у вас татар — степное сердце, а наше сердце — во руке Господней. И дело наше — свет принести во тьму лесную и тьму степную. Нам, русским, свет тот достался даром, по великой милости Божьей. Но Господь говорит: «Отработай, заслужи его». И дает испытание народу — смотрит: выстоит или нет. Вот такое испытание для нас — ордынская власть. Да, сейчас мы унижены, но в унижении нашем возрастет дух. Придет время, а оно при дверях уже, когда объединятся наши князья и откажутся платить дань ордынскому царю. Будут битвы великие, но наша возьмет — примет хан тогда нашу веру. А вслед за ним и народ его примет. Ты все понимаешь, что я говорю?

— Не все, ата, — признался Бекет. — Многие слова твои мне непонятны.

— Ну, ничего — потом поймешь Главное другое: ты на первой ступени лестницы...

— Что значит лестница, ата?

— Лестница — это ступени невидимые, к Богу ступени. Ты осознал свой грех — значит, ты на первой ее ступени, а потом будет и вторая. И чтобы ты на нее поднялся — дам я тебе перво-наперво молитву. Она очень простая: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя». Повтори семь раз.

Бекет повторил.

— Вот так и будешь молиться. Да молись громко, чтобы бесы слышали и трепетали. Но это не все еще. Не держи за на Андрея...

— Какого Андрея?

— На того, кто воду тебе на ноги плеснул. Его отца татары в плен увели, а над матерью надругались. Вот он и ненавидит всех вас. Но ты проси Господа, чтобы умягчил его сердце. Это трудно, я знаю, но без прощания истинной веры нет. А теперь иди, отрок. Жить будешь в доме для голышны, он рядом с трапезной. Будешь работать вместе с нами, а когда Бог даст знак — крестишься.

Игумен благословил мальчика, и Бекет отправился в дом, где жили сироты. У храма он встретил Андрея, который, увидев его, плюнул и сказал вслед что-то злобное.

— Не сын ли он Ильи? — подумал Бекет.

4.

Утреннее прохладное солнце уже встало над рекой Идиль и осветило склон горы Сарытау, скучную прибрежную траву и деревянную плаху на берегу. Как рассказывали старики, раньше на этом месте был тьяк — камень, на котором приносили в жертву первенцев от стада. Урман со связанными руками опустился на колени и уткнулся лицом в жертвенное дерево плахи. Благородные мальчишки стояли поодаль и молились. Бекет с секундой в руке подошел к Урману и поднял секунду, но в это мгновение чья-то невидимая рука остановила его руку. Бекет повернулся и увидел за спиной незнакомого ему мальчика. Он был в одежде из белого войлока и с каким-то немангытским, необычайно прекрасным лицом. Ангел — догадался Бекет и перевел взгляд на Кубутыла. Кубутыла, только что бывший угрюмым и важным, вдруг просиял лицом.

— Казнь отменяется, Бог простил Урману, — сказал он. И тут Бекет проснулся.

Сирой осенний рассвет еле-еле проникал сквозь бычьи пазыри на окнах. К утрени еще не звонили, голышня и старец-воспитатель блаженно спали. Бекету захотелось разбудить их и рассказать про свой сон. Уже месяц он жил в монастыре, и за это время казнь Урману ни разу не снилась ему. Хорошие отношения с голышней у него установились быстро: почти все были младше и слабее его. Единственный его ровесник, избранный верховод, попробовал его задирать, но был побежден в первой же драке. Сироты признали главенство «ордынчика» и сильно зауважали, зная, что он умеет скакать

на коне, владеет мечом и стреляет из лука. Монахи и послушники, кроме Андрея, продолжавшего глядеть на него волком, тоже приняли Бекета благожелательно, к тому же все знали, что ему покровительствует игумен и что игумен сам будет его крестить.

Завонили к утрени. Сироты и старец-воспитатель проснулись. После короткой молитвы все умылись у бочки с водой, стоявшей рядом с порогом во дворе. Времени, чтобы слушать сон, не было спешили в храм. После утрени, Бекет подошел к отцу Иосифу и рассказал ему сон.

— Вот Господь и дал знак, — сказала игумен. — Ты уже на второй ступени лестницы — дальше подним легче будет. Сегодня же окресту тебя. Не будет больше Бекета — будет послушник Иоасаф.

— Почему я буду Иоасафом, ата?

— Царевич был такой в индийской земле. Был в язычестве воспитан — ничего не знал о Господе. Но Господь послал к нему старца Варлаама, и этот старец святой наставил его в нашей вере.

— Скажи, ата, а мои родители и мои братья могут спастись?

— Если будешь молиться за них, то смилуется Господь...

— А за бия Бурююка можно будет молиться?

— Можно, но не чужой молитвой спасается человек, а своей. Я не знаю, какой замысел Божий об агарянах. Может быть, дети или внуки их спасутся, если примут нашу веру.

— А если не примут?

— Слово Божие сильнее меча. Вот позволит хан строить монастыри в своей державе: тысячи обратятся. Ну, а кто не обратится — тот ветвь засохшая. Как ветвь и спогит.

В этот же день отец Иосиф крестил Бекета, и с этого дня он стал послушником Иоасафом, но поскольку многим было трудно произнести это имя, то чаще его стали звать проще: Асафом. Игумен объявил, что сам будет его духовником. Он взялся учить его славянской грамоте, и Бекет-Иоасаф вскоре сам стал читать церковные книги и приохотился к ремеслу переписчика. Это тоже поставило его в особое положение в обители, т.к. послушники все были неграмотны, а из монахов умели читать и писать лишь несколько человек. О будущем пострижении в иноки отец Иосиф не заговаривал, и когда новый послушник спросил его об этом, ответил так:

— Сам думай. Можно и в миру Богу служить, хотя, по-моему, нет жития лучше иноческого.

Чем больше Иоасаф узнавал своего духовного отца, тем больше тот восхищал его. В Орде таких людей не было. Монашеская жизнь должна быть, по мысли отца Иосифа, восхождением к Богу, но иноку, считая он, не должен слишком удаляться от мира. «Ворота в мир открытыми держать надо, — говорил он. — Народ, на образ иноческий глядя, лучше станет». Главным в монашеской жизни он считал молитву и труд. «В руках работа, в устах молитва», — было его любимым присловьем.

Монастырь при нем стал обширным хозяйством: в нем были столярная и бондарная мастерские, мастерская по плетению аглетей, яблоневого сада, который монахи называли «раем», пасека, а стенами — поля. Все что производилось, выращивалось, собиралось, то или выгодно продавалось или копилось на «черный день». Отец Иосиф лично управлял всеми хозяйственными делами, и монастырь при нем богател. Когда его упрекали в стяжательстве, он, обыкновенно отвечал:

— Стяжано, чтобы расточить, а у кого нет ничего, тому и расточать нечего будет.

И действительно: в голодные годы обитель открывала свои закрома и монастырь кормил полкняжества. Деньги тоже не лежали у него мертвым богатством: на них отцу Иосифу удалось выкупить многих людей из ордского плена. К пустынножительству он относился с недоверием и, хотя и не отрицал его, говорил так:

— В пустыню идут Бога услышать. А как услышал — не таи: иди к людям и расскажи, что услышал.

От странников, подолгу живших в обители, Иоасаф узнал, что в других монастырях живут и молятся по-другому. Особенно взволновал его разговор с одним паломником, о котором говорили, что он бывал на святой горе Афон. Странника этого прозвали в монастыре сухопьяным за странность речей и пронзительный, будто испытывающий человека, взгляд. Как-то раз он пила с этим сухопьяным дрова и, когда во время короткого отдыха прочитал вслух молитву, тот сказал ему:

— Неправильно молишься.

— Почему ж неправильно?

— Другая молитва есть внутренняя. Иноки на Афоне так молятся. Внешняя молитва как лист — осенью завянет и упадет. А внутренняя молитва есть плод.

— А как сотворить такую молитву?

— А вот как. Поутру, как проснешься, сядь на лавку и ум свой из головы опустит в сердце.

В сердце его и держи, вниз наклоняя, и повторяй мысленно Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя». И до тех пор повторяй, пока боли в груди не почувствуешь. Ты той боли не бойся — за ней свет придет и свет тот от Бога. Понял?

— Нет, не понял. Что значит, ум из головы в сердце опустить? Разве ум не всегда в голове?

— Сам я это чувствую, а вот объяснить не могу. Но по-другому скажу: когда Господь наш Иисус Христос был на Фавор-горе, то преобразился весь и светом чудным просиял. И мы не богатства умножать должны, а свет тот стяжать.

Разговор этот Иоасаф пересказал потом игумену и спросил, знает ли он о внутренней молитве.

— Знаю, — ответил отец Иосиф. — Что ж... Они так молятся, мы по-иному. Главное, то, за что молиться. Мы ведь не только себе, всей земле нашей у Бога милости просим, чтобы избавил нас Бог от владычества агарин. И труды наши тоже для нее, для земли. Храм построить, сад насадить, голодного накормить — все это дела угодные Господу. А какая молитва лучше — не нам судить.

Игумен помолчал, а потом спросил:

— Скажи, Асаф, Андрей по-прежнему смотрит на тебя со злобой?

— Да, ата. Я каждый день молюсь о смирении его сердца, но он по-прежнему ненавидит меня.

— Ему трудно, Иоасаф. Он не может простить тех... Ты же для него один из тех.

— Что же мне делать, ата?

— Ничего. Бог завязал, Бог же и развяжет.

И действительно — скоро развязалось.

5.

Прошло несколько лет. Иоасаф принял постриг и стал рясофорным — так это называлось в монастыре. По-прежнему его делом было переписывание книг. Он уже не мыслил своей жизни вне стен обители, но все кончилось так же внезапно, как и началось. Неожиданно, без какого либо предупреждения, в монастырь приехал князь. Вообще-то он часто посещал монастырь, но об этом обычно было известно заранее, и, если день был не постный, к его приезду пекали пироги с рыбой и грибами, поэтому братья эти госте-

вания любима. Но на этот раз князь приехал к самому концу трапезы и был явно чем-то обеспокоен. Он уединился с игуменом в его келье и о чем-то долго с ним говорил, а потом, сев на коня, ускакал вместе со слугами, даже не взглянув в храм. Иоасаф, возвратившийся после трапезы к себе, принялся за привычное свое книжное рукоделие: тонкой кисточкой стал писать райскую ветвь, увивающую буквицу «веди» в начале первой строки Евангелия от Иоанна. И тут на пороге кельи появился Андрей:

— Игумен зовет тебя к себе, Асаф.

Раньше Андрей никогда не заходил к нему и вообще никогда не обращался. Но впервые его взгляд и его голос не были враждебными. «Что-то случилось», — подумала Иоасаф и поспешила к отцу Иосифу. После благословения игумен сразу же приступил к делу.

— Беда, — сказал он. — Великий князь московский отказался платить дань орданцам, и теперь правитель Едигей идет войной на нас.

— Едигей! — воскликнула Иоасаф. — Я слышала о нем. Это — Кубугты, он скрывался под именем Кубугтыла. Он свергнул хана Токтамыша.

— Да, это он, но я не о том. Наш отчий — союзник князя московского и собирает войско, чтобы выступить навстречу Едигею. И ему нужен воин в куколе, воин-мних, который воодушевляла бы бойцов. Я сначала послал за Андреем, но князь, узнав, что Андрей не держал никогда меча в руке, отверг его. И тогда я подумал о тебе...

— Обо мне!!!

— Да, о тебе. Ты сам говорил мне, что выдала мечом лучше всех отроков в Укеке.

— Но это было в той жизни, ата. Я — инок, а дело инока молиться, а не сражаться.

— Инок может сражаться. Послаа же преподобный Сергей двух своих черноризцев на битву с Мамаем, потому что битва эта была за веру и за нашу землю. А земля наша — святая.

— Но Едигей — мангыт, ата. Там в его войске должны быть мои братья, там — бий Бурлюк... Я не могу их возненавидеть, ата.

— Тебе не нужно их ненавидеть. Они давно не родня тебе. С тех пор как ты крестился, ты — наш. Опустоши свое сердце, освободи его от привязанности к своим домашним. И тогда дух Христов войдет в тебя.

— Я не могу сделать этого, ата, — тихо сказала Иоасаф.

— Можешь! — почти крикнул отец Иосиф, и лицо его стало жестким и гневным. Таким Иоасаф никогда его не видел. — Можешь! Я твой духовный отец, и ты должен поинтересоваться мне. Завтра утром ты пойдешь в город — там, в кремле, собирается войско. Князь ждет тебя.

Наступило тяжелое, мучительное для обоих молчание. Первым прервал его игумен. Он снял со стены образ Божьей матери-Путеводительницы.

— Я благословляю тебя, Асаф. И я буду молиться за тебя.

— Меня ведь убьют, ата.

— Может быть, и убьют, на все воля Божья. Если убьют, попадешь в рай.

— Я уже жил в раю, ата. Обитель и была для меня раем.

Иоасаф подошел под благословение, попрощался и вышел. Он вернулся в келью, попробовал продолжить работу над буквицей, но не смог, дождавшись темноты, лег спать. Этой ночью гора Сары-тау и берег Идияла снова приснились ему. Урман стоял на коленях, со связанными руками и уткнувшись лицом в плаху. Он, Бекет, взял в руки секиру и подошел к Урману. Прежде чем занести секиру, он обернулся. Ангела за плечами не было. Благородные мальчики стояли в молчании и на него глядели узкие и злые глаза Кубугтыла.

— Ну, что же ты, — сказала Кубугтыла.



Беседы птиц

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

Озаренным гексаметром я рассказал бы про это,
как ушел на заре, замышляя идти до заката...

Осязанье Казани подобно пути без возврата.
Осязанье Казани подобно любви без ответа.

Той любви, что не будет твоею, и зряшны потуги,
но ее же в душе не избыть, как цемешую долю:

на заре уязвленное сердце азвало на волю
на закате само запросилось на прежние круги.

Пожелало, поди ж ты, былых безнадежных терзаний,
снегопадов огромными хлопьями в темную воду,

мандаринов душистых по шарикку к Новому году,
золотых пузырьков от ситро в послевкусьях Казани,

серебристой поэмки и голубого морозца,
льдыстых луж Закабанья в летучести банной теплянки,

косоголов Казанки в метелках замершей поляны,
озарений той памяти, иже уже не вернется.

На заре за Вергилием,
на закате за Хызром Ильясом*
кочевала душа, озираясь на зовы азана.

Снеги млечные лягут мне под ноги белым паласом.
Тишина безответная, словно любовь, несказанна.

*

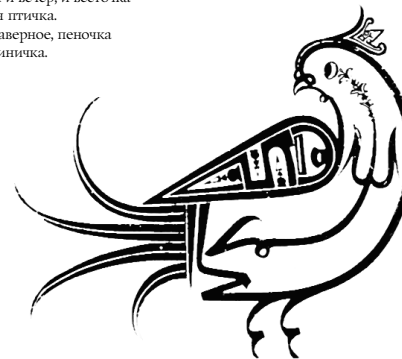
Хызр Ильяс, или Святой
Илия, образ покровителя
странников в
мусульманской
мифологии

Облачко. Чуткая веточка.
Легкая птичка.
Это, наверное, пеночка
Или синичка.

Осень. Крылатое семечко.
Сеянец света.
Это, наверное, девочка
Смотрит на это.

Это, наверное, вспомнится,
Душу встревожит.
Ежели сердце опомнится.
Ежели сможет.

Вот он и вечер, и весточка —
Легкая птичка.
Это, наверное, пеночка
Или синичка.



С неизреченного

Перевожу себя с листа пустого,
с неназванности — тени,
с мысли-слова.

Оно мерцает алым, белым, черным,
татарским, русским и неизреченным...

Я — есть, но — возгордясь — не позабыла,
что близко будет сказано: он — был.

Перевожу: свидание — разлука.

Аз, буки, веда — эхо Первозвука,
но сквозь Его Молчанье-серебро
кириллица чистит: глаголь, добро...

Где шепет-свист, где чаша русской речи,
где ц е — лишь цацки соловья-предтечи,
где в рощах осыпаются, ропща,
шипящие согласные ча, ща,
где оборотень — а з заподлицо
славянский алфавит замкнул в кольцо —

здесь — безнадежно, но с последним правом
кричу — а у, чтоб отозвалось — АУМ*.

Отсюда — ускользает Первозвук
в довесок из шести татарских букв,
который придает татарский вид
тебе, болгарско-русский алфавит...

Вот — вдаль, куда влечьмах уходит лето,
мне отворив четыре дали света,
скользит — и уследить за ним нельзя...

Неизреченность — истина — стезя.

Перевожу: неназванность — росток,
рисующий на пустом листе цветок
внезапный.

Воронка солнца

Вьезжала молния с разгона
В утес над пропастью сырой,
Жилые таежного кордона
Высвечивая под горой.
Шумели мокрые березы,
И, лодкой реку бороздя,
Под кров Герасима и Розы
Мы завернули от дождя.

Аил — кедровый шестигранник,
Где в центре — кованный таган...
Здесь каждый осторожный странник
В почете, как Бильге-каган.
В пространстве этом еле зримом,
Вокруг укромного огня
Не очень громко пахло дымом
И кислым духом чегеня,
Но за глаза хватало света
Для чаепития и мне,
И тем, кого лучи рассвета
Не застанут на топчане.

Я оценил удобство крова,
Но ускользала с дымом суть...
"Алтайца жизнь была сурова,
затем открылся светлый путь», —
но я, взрослая, не в бреду ли
почел за счастье и за честь,
как бы вставая на ходули,
казаться выше, чем я есть?

Ведь, кроме искуса причастия
к чужой судьбе своей судьбой,
сейчас не знаю выше счастья,
чем быть в ладу с самим собой...

Я засыпал. Кончая дело,
Спибались абами облака,
Река, как вечный ливень, пела,
А ливень лился, как река,

И кров — хибарка без оконца —
Отверстый в космос наверху,
С зарей предстал — Воронкой Солнца!

Я видел, лежа на меду:
На угли очага живые,
Как поколения назад,
Летели ливни световые,
Летел наклонный солнцепад!

Аила скудное убранство
На звонком солнечном свету
Обозначало постоянство,
Необходимость, простоту,
Где радости и лихолетья
Слетались в ежедневный труд,
Где протекали тысячелетия,
Да и сейчас еще текут!

Многоэтажный вспомнив улей,
На землю возле очага
Я встать решился без ходулей,
И твердь освоила нога;

Бил свет сквозь верхнее отверстие,
И — бесплощадно, наяву
Я ошутил свое столетье,
В котором грежу и живу.

Чем завершится эта проза?
Когда мы покидали кров,
Герасим был в тайде, а Роза
Доила трех своих коров.



*
АУМ — созвучие,
сопровождавшее
образование Вселенной
в восточной мифологии.

Сказитель

Нежней, чем облако бело,
вокруг и зелено и голо.

Впоследствии село Ело
пропало в скальных волнах дола,

и Ябоганский перевал
по всем эпическим законам
воздвигся,
как девятый вал,
над золотым рододендроном.

Вступила перевала власть
в свои права:

на гребне саева,
цветными лентами струясь,
жило языческое Древо.
Вадун, как древний истукан,
насупливал крутые брови.
Вдали струилась
речка Кан,
когда-то пенная от крови.

В степи, бугристой, как ладонь,
в избенке на краю селенья
сказитель Калкин вел огонь,
предвидя гостя появление,

ведь мысль его, как блеск стрелы,
мгновенные пронзила дали,
где смуранки и орлы
определяют вертикали...

— Скажи, сказитель, как ты смог
в миру, где мозг тиранит проза,
сказанье — сорок тысяч строк —
обезопасить от склероза?!

— Не нужно помнить ничего.
Как ветры горные летая,
сказанья рода моего
живут в кедровниках Алтая..
Надежней записи словес
слух сердца бережный.

— Так мало?!

В лазурном эпосе небес
клубились кедры перевала.

Гремели сепки и кройки,
гремели премии и званья,
не оставляя ни строки
тысячелетнего Сказанья.

Мы завернули за увал,
ни в чем почти не виноваты
в миру, где сердце надрывал
сказитель — в поисках утраты,

но видевшие сотни лун,
вослед нам бережно едва ли
глядели Древо и Вадун
на Ябоганском перевале.

Кырай-Кырык

Не так ждала сердца глаголом жець,
как выжечь прочь
расчетливость купечью,
татарскую отеческую речь
продолжив русской
выстраданной речью..

Кто мне указ —
что можно, что нельзя?

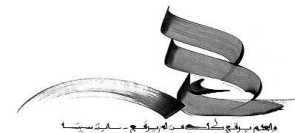
Скользя с Горы,
под облака взлетая,
двойная привела меня стезя
в нагорные селения Алтая.

Здесь
вспомнил про Кырай*
в селе Кырык
не древней тюркской памяти в угоду:
так выразил
второй родной язык
мое родство — алтайскому народу.

И путь скользил сквозь горные леса,
ни лепестка не повредив при этом,
и выше — были только небеса,
сверкающие беспощадным светом.

*

Кырай — село в
Заказании, где в раннем
детстве жил Габдулла
Тукай, восхитенное им в
поэме «Шураме».



Алтын-Кель – Телецкое озеро

Осенью, в Яйлау, с песчаного берега плеса
вижу, как солнце по озеру катит колеса...
Без искажения живут в тишине отраженья:
желтые горы и листья в просторе круженья!

Снежны хребты по окружности.
По-над белками
высь освященная.
Скрыты голцы облаками.
Склопа летит по колыцу,
замыкая округу
то ли по эллипсу,
то ли по верному кругу...

Аккумулирует солнце в потемках глубоко
озеро – линза пространства, разумное око;
точка отсчета,
стремящая в центр мироздания
радиус-вектор возврата ума и сознания...

Осенью, в Яйлау,
мне ясно без книг и без формул:
не возникали ни Рем, ни волчица, ни Ромул,
не возникали учения и ажеученья.
Солнце – и сеянец-дождь!
Золотое сечение.

Листья шуршат,
трепеща и в пространстве скрываясь,
солнечный дождь, на ошупь ко мне прикасаясь,
ждет, чтоб исчезнуть,
веления или сигнала...

Осенью, в Яйлау,
любовь меня не предавала,
не забывали друзья, меж собою условясь,
не упрекали
ни честь, ни надежда, ни совесть!

Сослепу дождь
то качнется на юг, то на север.
Сослепу дождь
разжимается в радужный веер.
Сослепу дождь
оставляет, рассеясь и канув,
радугу –
знаки
*семи животворных бурханов*¹.

Огненно-красный
бурхан очага и заката.
Алая туча лучистой грозой чревата.
Грозный хозяин костра и вечерней зарницы,
крови таяжной, медведя, марала, лисицы...

Нежно-оранжевый
жадный бурхан облепихи,
грозди таящий в шипах без греха и шумихи,
кожу до крови царапая в гневе жестоком,
боль исцеляет целебным и царственным соком.

Солнечно-желтый
осенний бурхан избылья,
мощь придающий когтям, укрепляющий крылья,
лиственничный и ячменный, хозяин капкана,
в жертву берущий
перо или горстку талкана²...

Хвойно-зеленый
корня творец золотого,
отче арчи, хозяин бадана литого³,
щедрою дланью прячущий в горные недра
семя четырехжды благословенного кедра...

Свет-голубой
прозрачный бурхан водопада,
легкой росы и капли цветущего сада,
чистого озера, пенного в искрах потока,
старницы в листьях жемчужных,
реки и притока...

1.

Бурхан –
мифологический
персонаж алтайского
эноса.

2.

Томный ячмень.

3.

Горное лекарственное
растение.

Тенгри-синий

святой, благодатный бурхан небосвода,
света создатель, бурхан — охранитель народа,
область надежды,
куда от рожденья стремимся,
вечность,
откуда пришли и куда возвратимся...

Ночь-фиолетовый

точный бурхан силуэтов,
сумрачный, сумеречный,
бурхан-вдохновитель поэтов,
шорох-бурхан: ночь, немота и молчанье,
тьнь на воде, черной ветви качанье...

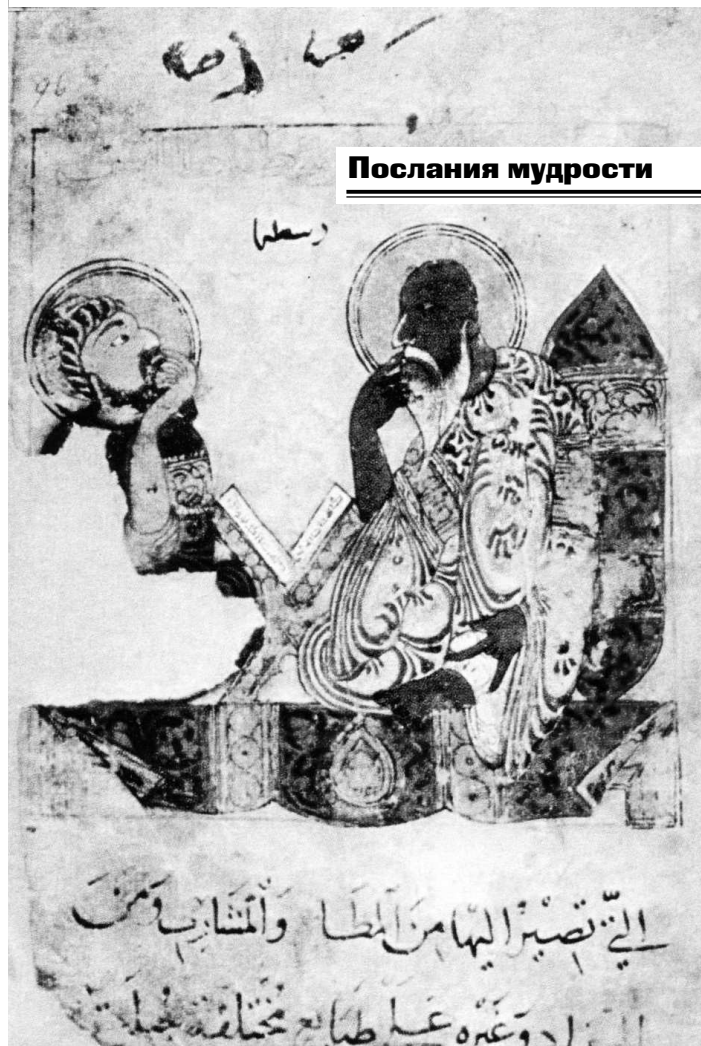
В спектре расплывчатом — я со своею судьбою.
Мне не воздается уже ни умом, ни любовью.
Словом своим
замыкаю, как птица, окружность,
осознавая
причастность к Любви и ненужность
зла и добра — черно-белым не будет
пространство.
Озеро осенью, словно души постоянство.

Осенью, в Яйлау,
словно во сне и нирване,
семь воплощений сливаются в Белом Бурхане.
Черный бурхан — это просто отсутствие света,

Осенью, в Яйлау,
на свет уходящего лета
лист отлетает, прощаясь, и это движение
перечеркнет — вот сейчас! — и мое отраженье...

Но на ладони моей — как суеты отрицанье —
капли слепого дождя.

Чистого Света Мерцанье.



Послания мудрости

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЕВИЧА САНАУБАРА

Перевод с сартского языка Н.П. Остроумова¹

Вместо предисловия

Сказание о царевице Санаубаре², перевод которого здесь предлагается, пользуется среди простого грамотного туземного населения Туркестанского края большою популярностью: среди сартов «Царевича Санаубара» декламируют так называемые бахши, то есть особого душевного склада люди, вроде сибирских шаманов, под аккомпанемент дбухструнного инструмента (дотар), а среди кыргызов — так называемые джирчи, т.е. песенники. Те и другие расппевают стихи «Сказания» обыкновенно на базарах, перед толпой, с которой получают деньги за свою декламацию. Кроме этих лиц, «Санаубара» любят читать молодые подростки и грамотные женщины. Тем и другим фантастическая фабула сказания и романтический характер его очень нравятся.

Я впервые ознакомился с содержанием этого сказания в устном рассказе одного малограмотного туземца и потом уже достал список этого сказания, с которого был начат почти дословный перевод³. Но пока я приоткрывал текст и перевод «Санаубара» к печати, в Ташкенте в 1903 году был издан литографированный текст подлинника. Однако это литографированное издание «Санаубара» не представляет ничего достойного замечания и вообще уступает нашему списку в правильности языка. Не считая нужным указывать на произвольные изменения в литографированном издании, мы предлагаем перевод более правильного текста нашего списка.

Ташкент, Н. Остроумов
10 августа 1908 года

1.

Печатается по изданию: Записки императорского Русского географического общества по отделению этнографии. Том XXXIV. Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. — С-Петербург: Типография В.Ф. Киршбаума, 1909.

2.

Ташкентские сарты прозвонили это имя с кратким «у».

3.

В переводе принимал большое участие хороший знаток сартского языка А.Н. Вышнегорский.

4.

Чин — Китай (от названия династии Сунь 10—13 вв.) Н.П. Остроумов видит название на Китай, как на место жительства царя Шуринда странным, однако в персидской литературной указание на Чин как на место действия означает удаленность его от Ирана на восток, вот чин юго-восток.

Рассказывают, что в городе Чин⁴ жил царь, по имени Хуршид⁵. У него был солнечный сын, по имени Царевич Санаубар⁶ который обладал необыкновенною красотой: отблеск его красоты освещал самое солнце. Царь-отец нежно любил сына, и если не видел его некоторое время, то уже скучал. Когда царевичу исполнилось семь лет, его отвели в школу (мактаб), где он до двенадцати лет учил наузуз Коран.

Однажды царь сказал своему сыну: «Дитя мое! с семи лет и до сих пор ты изучал науку; теперь поучись военному искусству». С этими словами он дал своему сыну сорок палжей⁷ и послал их гулять в большой сад. Гуляя со своими 40 сверстниками, Санаубар вошел на золотой трон и прилет.

В городе Шабистане⁸ у царя Фарруха-пьяри⁹ была дочь, по имени Гуль-пьяри-зат¹⁰. Она, в сопровождении своих 40 служанок, путешествовала по белу-свету, и случайно взор её пал на этот сад. Гуляя и любуясь садом, Гуль-пьяри-зат набрала душистых цветов и, омыв их в водоеме с берега, взошла на золотой трон — и увидела, что на троне лежал стройный, красивый юноша. Увидев его, она остановилась от удивления, а Санаубар заговорил во сне: «какого сада ты цветов? какого луга ты соловей?»

На вопросы Санаубара давала ответы Гуль-пьяри-зат.

Санаубар. Ты, обладающая взглядом сокола и крыльями Гавриила¹¹,

Чистая красавица моя, откуда ты?
О солнечликая, о луноликая (красавица)
с ароматическими прядями волос!

Ты, обладающая приятно потупленными глазами, откуда ты?

Гуль-пьяри-зат. Коми спрашиваешь обо мне, я — царица всех пярри.

Я из страны и города Шабистана.
Пойми, я — царица «пламени любви».
Из сада без листопада я.

Санаубар. На голове у тебя надеда драгоценная корона.
Увидевший тебя увалекается твоею красотой.
В пошлину любви они дают сокровища своей души.

О ты, кокетливые взгляды которой точно стрелы, откуда ты?

Гуль-пьяри-зат. Бедные влюбленные служат спутниками клеветы;

Ливнем льются из глаз их слезы.

Мое жилище — цветник, и я — глава всех пярри.
Коми ты спрашиваешь, — вот из какого места я.

Санаубар. Руки свои, руки китаянки ты обгадила кровью¹².
Золотистые косы свои ты расчесала гребнем.

5.

Хуршид, перс. «солнце».

6.

Санаубар, перс. «сосна».

7.

«Махрам-бача» — юноши, служащие в ханском двореце.

8.

Шабистан — страна ночи, северная страна, аллегорически — спалния.

9.

Фаррух-пери — радость пери. В классической персидской литературе, начиная с «Шахнаме», пери — прекрасные девы-волшебницы. Встречаются пери мужского пола, но их крайне мало. Пери живут в волшебной стране, где правят пери-цари. Несмотря на то, что они живут домше людьми, они не бессмертны. Пери — бесстрашные воины. Их врагами являются дэвы и коудуны. После прихода ислама пери стали ассоциироваться с дэвами.

10.

Пери, подобная розе, по своей природе, то есть красавица среди других пери.

11.

Имеется в виду, что крылья Гавриила простираются на 500 лет лути. Поэтому он быстро доставлял на землю повеления Бога.

12.

Имеется в виду хна, которой женщины на Востоке красили ногти своих рук.

	Ты заставила меня страдать, как страдал Иосиф. Обладающая началами Зюлейхи ¹³ , откуда ты?	13.
<i>Гуль-пярй-зат.</i>	Я, как Иаков ¹⁴ , пришла, отыскивая тебя, Я пришла, предавая осуществление своей мечты. Я — попугай, я — из рудника сладости ¹⁵ .	Зюлейха — жена египетского вельможи, соблазняяшая цезомудренного Иосифа (Коран, 12:23-35).
<i>Санаубар.</i>	Замахнувшись кинжалом, ты залила кровью моё сердце; Красное лицо мое ты заставила пожелтеть, подобно шафрану; Своим кокетством ты убила меня, ты, нежная красавица... Милостивая царица! откуда ты?	14.
<i>Гуль-пярй-зат.</i>	Твоё лицо доверяет свои секреты только рыбе в воде; Вдох твоей любви сжигает весь мир. Коли спрашиваешь мой род, то я — царица всех пярй. Я — из рудника бриллиантов и яхонтов.	Иаков — отец Иосифа (Коран 12: 83–101).
<i>Санаубар.</i>	Твои глаза — нарциссы; твой рост — рост дерева Туби ¹⁶ Кокетливая красавица, ты любима всем светом. Насколько лет пути отстоит твое жилище? Сознайся же, из какого ты рудника?	15.
<i>Гуль-пярй-зат.</i>	Мой род из рода пярй, — я неосязема. Если же открыть сокровенную тайну, То триста лет до моего жилища. Знай, я — из города Шабистана.	Имеется в виду знаменитый образ персидской поэзии — попугай, гуляющий сахар, именующий большое число коннотаций, в т. ч. в любовной лирике.
<i>Санаубар.</i>	А моё имя — Санаубар, я — сын царя Хуршида. От тоски опечалена душа моя. Красавица с талией ангела и лицом цветка! Скажи правду, из какой страны ты?	16.
<i>Гуль-пярй-зат.</i>	Я дочь царя Фаруха, имя моё «Гуль» ¹⁷ . От тоски по мне все пярй словно горюющие соловьи. Это признание моё словно предсмертное (по правдивости), Коли хочешь узнать, я — из того места.	Райское дерево туба, под сенью которого праведники наслаждаются блаженством.
	После этих слов она дала в руку Санаубару цветок и сказала: Всякий раз, когда ты увидишь этот цветок, Тебе покажется, как будто ты меня увидел.	17.
	Затем с сорока служанками своими она отправилась в свой город. Санаубар понохал цветок (и лишился чувств). Через час он проснулся и, поднявшись с места, произнес следующие стихи в воспоминание о красавице:	Перс. «роза».

<i>Санаубар.</i>	Посредством кокетства овладевшая моей душой, пярй-зат! Оденься в расцвеченную одежду и вернись, вернись теперь!	18.
	Соннемика, дуномика, стройная, как шамица ¹⁸ . Услышь мой стон, приди теперь! В разлуке с Билкис ¹⁹ блуждал Соломон. У Иакова из-за сына глаза были в слезах. И я, бедный влюблённый, заблудился на пути к тебе. Замахнись кинжалом на мой зов, приди теперь! Из-за Ширин ²⁰ много горя испытал Ферхад. Бедный влюблённый на пути к тебе не рад. Темноокая моя, с ростом шамица! Услышь мой вопль, иди теперь! Маджнун ²¹ , влюбившись, странствовал по пустыне. Смилуйся над моим положением, царица красавиц! Источая пот каплями, иди теперь (т. е. спеши), Иди из твоего жилища, чтоб узнать моё положение.	Шамица, шамица — перс. «княгиня».
	Привязав к косам золотой амулет, Обвешав шею драгоценными коралами, Шагая горделиво, к этому гнезду иди теперь! Махмуд ²² сгорал страстью к слуге с лицом, подобным луне. По Хамдаму маля Мевлеви-Джали ²³ , Свет моих очей, покой моей души! Взрагивая по временам, обратно и теперь! С волосами, надушенными мускусом Татарии, и ростом прутника, Кокетством полонившая мою душу, чарующая глазами, Подрута Санаубара, верная моя возлюбленная, Смилуйся над изнемогшим, иди теперь!...	19.
	Тогда сорок товарищей Санаубара заметили, что Санаубар лежал грудью на сырой земле. Один за другим они подошли и заговаривали с ним, но Санаубар ни одному из них не отвечал. Между ними был визирь по имени Зивар.	20.
<i>Зивар.</i>	Богатством подобный Соломону, а владениями Александру ²⁴ , Говори, какая причина твоему расстроеному виду? С царственным взглядом и золотистыми косами, Объясни, какая причина твоей тоски?	Билкис — царица Савская, в которую был влюблен Соломон.
		21.
		22.
		23.
		24.

Стан твой, подобный алифу²⁵,
согнулся как лук (оружие).
Красота лица твоего блекнет как цветок.
Вздохи и стоны твои доходят
до небесного престола.
Скажи правду, этому воплю какая причина?
Отец Иосифа Ханаанского, Иаков, несколько
лет плакал по любимому красавцу.
Плача в раздумье, он лишился зрения.
Говори, какая причина крови,
текущей из глаз?
Глаз своих не наполняй кровавыми слезами,
Свежего лица своего не делай желтым,
как янтарь,
Не заставляй друзей своих плакать,
а врагов смеяться.
Какая причина твоей бесконечной
душевной печали?
Цветник мой обуревается осенним ветром.
Одно слово имею сказать царю моего сердца:
Выслушай челобитную раба Зивара.
Говори, разорванному воротнику моему²⁶
какая причина?

Но Зивару он тоже не отвечал.

Тогда сорок приближённых его с плачем пошли к царю и рассказали подробно, что произошло. Царь пошёл к сыну и увидел, что Санаубар лежит, как мертвый. И при виде этого сам лишился чувств. Очнувшись, царь Хуршида задавал вопросы Санаубару, но Санаубар не отвечал.

Тогда царь Хуршида собрал всех астрологов. Астрологи открыли книгу и сказали, что пири зачаровала его, но что веселье исцелит его. Однако сколько не веселили (Санаубара), он не поправлялся. Наконец, царь провозгласил, что если кто вернет его сыну дар слова, тому он даст мула, навьюченного золотом.

Была у него служанка, которая пришла и сказала Санаубару:

Царевич! скажи мне всё, что у тебя на душе,
и я исполню твоё желание.

Тогда Санаубар пошёл к отцу и рассказал ему всё, что видел во сне.

Санаубар. Одно слово имею сказать вам,
старшие братья и беки.

Во мне мне привиделась с золотистым
цветом клевера²⁷,
С ростом, как алиф, с лицом, как роза,
красавица.

25.

Алиф – первая буква арабского алфавита, имеющая вид прямой, вертикальной черты.

26.

Имеется в виду, что отчаявшийся с горя разрывает ворот своей одежды.

27.

Т. е. волосами.

Её любовь зачаровала меня.
Ресницы её стоят рядами на тёмных глазах.
Она пролила мою кровь
и выкрасила руки бирючиною²⁸.
При виде её моё сердце ушло
по её стройному росту.
Смотрящая вкось, родом из высшего мира,
показалась пири со сладкой ужимкой.
Как только я её увидел, она пригинула мой ум.
От тоски по ней мне жизнь тяжела.
С драгоценным поясом и перлами в косах,
Она иногда обернётся и кокетливо взглянет,
И каждый взгляд её затрагивает
мою влюбленную душу.
Моя душа может вылететь из моего тела,
Но обладательница мускуса и амбры,
с талеей муравья,
Дала мне один цветок и отуманила меня.
Тот редкостный жемчуг (т. е. цветок) мне нужен.
Давши мне обещание (на триста лет),
она дала мне знак на память.
Похожая на мед и сахар, а устами на бутон,
Она исчезла, когда я проснулся.
Внедрив семя любви в Санаубара,
Она оборачивалась и разрывала, наподобие
мотка ниток, свою вуаль,
Обладательница ослепительного взгляда
и золотых кудрей.

После этих слов царь Хуршида сказал наконец:

Атальки²⁹ и беки! мой сын влюбился в пири.
Что делать?

Атальки и беки ответили:

Царь! виденное во сне
не имеет реального бытия...

Но (добавили они):

ты можешь послать людей
во все четыре стороны, чтобы
привести самых красивых девиц,
Где только они найдутся.

Царь спросил об этом мнении Санаубара, но Санаубар не согласился на это предложение; он горько заплакал и такими словами стал проситься у отца в путь:

28.

Хной, цвет которой здесь уподобляется крови.

29.

Аталык – воспитатель ханских детей (от ата – отец).

Дайте раз позволение отправиться в путь,
справедливый царь!
Пусть снова возрадуется расстроенная моя душа.
Если вы в сердце своём
любите всемогущего Бога,
Пусть не будет наказана за любовь
свободная моя душа.
От моих глаз не уходит ни на момент
владычица сердца.
Душою моею овладела
та кокетливая иноверка.
Трясётся, как сокол, машет крыльями, как
орёл, клокочет растерзанная моя душа...
Не удерживая меня долее от этого пути,
Не отвращай моего лица от той каабы³⁰.
Прошу всемогущего Бога о приближении к ней.
Иначе не успокоится на свете
моя растерзанная душа.
Пока я не повешусь на выстроенной
виселице, как Мансур³¹,
Пока не брошусь в огонь,
как друг Божий Авраам³²,
Пока я не продам себя на базаре,
подобно Иосифу,
Никакого покоя не найдёт разорванная
на сто частей душа моя.
На кого бы ни нашла страсть к любви,
Хотя бы он был царь, делается её рабом.
От любви мне досталась в удел
тысяча мучений.
Горит теперь, разрывается на тысячу частей
душа моя.
Уеду в город Шабистан в тоске по ней.
И кто будет жалеть обо мне, страннике?
Когда я вспоминаю двойную роднику
на белом её лице,
Сейчас же радуется разорванная
на сто частей душа моя.
Господство над миром мне кажется жизнью
в подземелье,
Ибо с горя по тебе горит больная душа моя...
Не приставайте ко мне, красавицы,
с лицами, точно цветки:
Санаубар уходит, и его растерзанная душа
(исчезает).

Наконец, царь Хуршид, — хотя сильно плакал, такими словами дал сыну позволение отправиться в путь:

30.

Кааба в мусульманской литературе служит синонимом для слова «цель».

31.

Имеется в виду Мансур ал-Халладж, знаменитый суфий, осужденный по обвинению в ереси и казненный в Батладе в 922 г. В персидской и тюркской извешной литературе виселица (дыба) Мансура стала символом безысходного страдания, в т. ч. любовного.

32.

По мусульманскому преданию, неверные бросили Авраама в огонь, но он вышел невредимым (Коран, гл. 21, ст. 68 и др. м.).

Что же делать, душенька-сын! Зачем
я сначала увидела тебя!
В моей душе ты был душою, в своей груди
я сохранил тебя.
Воспитывал нежно, я вскормил тебя...
Ступай, душенька-сын! — Богу поручил я тебя.
В цветнике моей жизни ты был
весенним листочком!
Ты был моим редкостным жемчугом,
моим сахарным песком, моим сахаром.
Ты был моим разумом, моею памятью,
покоем моей души,
моим наслаждением.
Ступай, душенька-сын, — Богу поручил я тебя.
Как я могу перенести разлуку с тобою,
душенька-сын?
Бог услышит мою молитву,
произнесённую сквозь слёзы.
Пророк да будет твоим всегдашним хранителем!
Ступай, душенька-сын, — Богу поручил я тебя.
Ты уедешь, взявши свою голову³³,
я останусь смотреть на путь.
Моё сердце окровавлено твоим горем,
и внутренности мои опалены.
Разлуки с тобою ни вытерпеть,
ни вынести не могу.
Ступай, душенька-сын, — Богу поручил я тебя.
Хотя я — Хуршид, но неудивительно,
если я вопию,
Если я ежеминутно, вспоминая о тебе,
рву свой ворот.
Никакого внушения ты не послушалась,
хотя я истекал кровью.
Ступай, душенька-сын, — Богу поручил я тебя.

33.

Т. е. без следа.

34.

Герой «Шахнаме» Фирдоуси.

35.

Слезы.

После этого Санаубар, прощаясь со своими друзьями, ска- зал им следующее:

Со схожими (по красоте) бровями,
Прощайте теперь, все мои друзья,
Поранившие и посыпавшие солью свои сердца!
Прощайте теперь, пришедшие друзья,
Жившие с нами по-товарищески!
Прощайте теперь, посвящённые в секреты,
С ресницами красивыми, как у Рустама³⁴,
Проливающие кровь³⁵, прощайте теперь!
Пала на мою голову страсть любви.
Верность к ней не покинет моего сердца.

Домохозяева страны китайской,
Хорошие ишаны, прощайте теперь!
Испившие вина правды, рассыпавшие
жемчуг в собраниях,
Открывавшие рынок знания, рассыпавшие
жемчуга³⁶, прощайте теперь!
Я, Санаубар, говорю: о верные друзья!
Выслушайте вздохи мои, стоны.
Все вы, пришедшие друзья и знакомые,
И благожелатели, прощайте теперь...

Наконец, царь Хуршида дал сыну в спутники 500 джигитов и сам проводил их до Оманского моря³⁷ и вернулся назад. Санаубар же с 500 джигитами попалыа по морю. Вдруг водоворот Оманского моря увлек их. В этом опасном водовороте они зылились шесть месяцев.

Тогда Санаубар следующим образом взмолился к морю:

Неустанно кипящее и клокочущее
Оманское море!
Сжалась этот раз над унылым и бедным!
Страсть любви охватила мою головушку.
Не оставь меня в столь великом горе
и несчастьи!
Я принадлежу к числу принцев;
я брожу вдали от дома;
Я ишу, но не нахожу исцеления моему недугу.
В разлуке с возлюбленной терзается моё сердце.
Пожалей, не оставь меня в муках и печали!
Ангел Гавриил приносит откровения пророку,
А в день светопреставления будет трубить
в трубу свою Исафила³⁸.
Возьми душу мою, святой Азраил³⁹!
Бери скорее, дабы я достиг до своей пяри
(красавицы).
Санаубар с плачем молится.
От вопля моего содрогаются земля и небо.
Всех сотворил Судья нужда⁴⁰.
Избавь меня скорее, дабы я достиг своей пяри!

Тогда подул противный ветер, ударил корабли друг о друга и раздробил их одновременно, так что 500 джигитов Санаубара утонули в море. Санаубар и визирь Зивар спаслись на отломившейся доске.

Санаубар со слезами произнес (тогда) следующие слова:

Кому я принесу жалобу на своё положение?
Сегодня для меня кончина мира.

Выслушай мой вопль, сотворивший
меня Владыка величия!
Сегодня для меня кончина мира!
Отсюда нельзя спастись и выйти целым;
Сегодня на меня напал страх последнего суда.
Сегодня для меня кончина мира!
Разорвав ворот свой, буду я стонать.
Пусть упадёт и разрушится постыглый
небесный шар.
Жаль тех юных лиц, ростом с шимшада
(кипарис).
Сегодня для меня кончина мира!
Что мне делать теперь с этой больной душой?
Я, как Иосиф, разлучился с Хаанаанского
моей землёю.
С одной стороны бедствие, а с другой – разлука.
Сегодня для меня кончина мира!
Спутником Санаубара служит только
Всемогущий, Всемилостивый.
Не оставь меня в (моём) горе без помощи!
Дай мне благополучие в начале и в конце.
Сегодня для меня кончина мира.

Наконец, через три дня после этого Санаубар и Зивар выплыли с Божьею помощью из моря к берегу. Там Зивар заболел и Санаубар, обращаясь к Зивару, спросил его о его положении следующими словами:

Санаубар. Спутник мой в нужде, верный друг мой,
Беспорочный мой отрок! каково тебе?
Спутник мой, собеседник мой, веселье моё,
помощь моя,
Свет очей моих, душа моя! каково тебе?
Зивар. Выслушай мою челобитную,
возлюбленный царь.
Я расскажу, а ты послушай теперь.
Я подпал неизлечимому недугу; я умру,
а тебе счастливо оставаться!
Санаубар. Твоё лицо пылает, твои глаза воспламенены.
Твоё нежное тело, подобно ртути, неустойчиво.
Верный друг мой,
Темногазый мой! объясни, каково тебе?
Зивар. Вспыхнула болезнь во мне. Без ухода
Я томлюсь на чужбине, да ещё в огне.
Наконец я испиваю напиток смерти.
Если тебе жалко меня, освободи меня
от этой темницы.
Санаубар. Я за тебя готов положить свою душу,

36.

Красноречие.

37.

Персидский залив.

38.

Ангел Исафила.

39.

Ангел смерти.

40.

Бог.

Не видя тебя одну минуту, я испускаю вопль.
Ты венец моей головы, ты живая моя душа.
Любящий друг мой, каково тебе?

Зивар. Моё положение становится хуже и хуже.
Я плачу день и ночь, и так моё время проходит.
Ланцет горечи пронзает мою душу,
А жизнь так мила: знай этой теперь.

Санаубар. Чтоб я не был рожден матерью!
Чтобы я не видел тебя в этом положении!
Чтобы я не был оставлен на улице
странствования!

Мой путеводитель⁴⁰ в опасности, каково тебе?
Зивар. Я сначала была свободен от забот;
Но на улице странствования⁴¹ я остался пешим.
Мой беспрерывный шаг увеличивает
моё страдание.

Возьми платок и оботри слёзы теперь.
Санаубар. Санаубар говорит: что делать?
Раздавлена моя грудь.

Богом написан тебе такой рок.
Нить жизни теперь обрывается.
Иосиф Ханаанский⁴², каково тебе?

Зивар. Зивар говорит: моя душа вся вспыхнула.
Красная рубаха окрасилась кровью.
Сила истощилась, и время приблизилось:
Я уйду, а ты оставайся в этой опасности.

После этого, со словом «Хакк»⁴³ Зивар испустил дух, а Санаубар оплакал смерть Зивара на чужбине в следующих словах:

По улице чужбины прошли чужестранцы.
О умерший ради меня на чужбине мой Зивар!
Его розовое лицо пожелтело, как шафран.
О умерший ради меня на чужбине мой Зивар!
Ради меня оставивший отца-мать,
Подставивший грудь под стрелу судьбы,
И, наконец, выпивший напиток смерти...

О умерший ради меня на чужбине Зивар!
Подобно бутону цветка, распавшийся рубаху,
Подобно соловью, источивший из глаз слёзы,
Отдавший мне свою дружбу
и напоследок умерший!

О умерший ради меня на чужбине мой Зивар!
Располагавший к себе сладкою речью,
На восприимчивую душу бросивший
семена дружбы,

И вот как простившийся с Санаубаром!
О умерший ради меня на чужбине мой Зивар!

41.
Букально: караванбаши.

42.
Т. е. в земной жизни.

43.
Т. е. красавец.

44.
Истинный, одно
из имен Бога.

(Продолжение
следует)

О Н.П. ОСТРОУМОВЕ (1846—1930)

Николай Петрович Остроумов — один из виднейших русских тюркологов и исламоведов XIX века. Был воспитанником Казанской духовной академии, учеником известного тюрколога и миссионера-просветителя Н.И. Ильминского и арабиста, автора первого фундаментального русского перевода Корана Г.С. Саблукова.

Н.П. Остроумов родился в 1846 г. в Тамбовской губернии в семье протоиерея. По окончании академии (1870), Остроумов преподавал там татарский язык и исламоведение, впоследствии, в 1877 г. переехал в Ташкент, где, в основном, он и сделал свою карьеру, будучи сначала инспектором народных училищ, затем директором учительской семинарии, позже мужской классической гимназии. С 1883 по 1917 гг. Остроумов был редактором «Туркестанской туземной газеты». С 1904 г. — член-корреспондент Русского комитета для изучения Средней Азии в историческом, археологическом и этнографическом отношении, возглавлявшегося академиком В.В. Радловым.

Глубоко преданный интересам монархии и официального православия, Остроумов, тем не менее, довольно критически высказывался о различных отрицательных сторонах деятельности русской администрации в Туркестанском крае, покровительствовал некоторым представителям туркестанской интеллигенции, в которых он видел примеры тяготения к русской культуре.

По инициативе и при непосредственном участии Остроумова были переведены на узбекский (сартский) язык произведения А.С. Пушкина, А.Н. Толстого, различная популярная и познавательная литература. Остроумов был представителем Императорской археологической комиссии в Туркестане и действительным членом Русского Археологического общества. В 1893 г. он, вместе с В.В. Бартольдом, становится основателем Туркестанского кружка любителей археологии, просуществовавшего четверть века и оставившего заметный след в истории археологического изучения Средней Азии. Историческая наука обязана Остроумову фиксацией ряда археологических памятников древности Туркестана, а также ряда письменных источников нового времени.

Много фактического материала сосредоточено в работах Николая Петровича по истории мусульманского образования Туркестана. Значительный интерес представляют его этнографические исследования, особенно сочинение «Сарты. Этнографические материалы. Общий очерк», содержащее большой и в значительной степени малоизвестный материал и выдержавшее три издания. Важнейшее место в творчестве Остроумова занимают исследования в области исламоведения. Итогом исламоведческих штудий Николая Петровича явилась серия работ под названием «Исламоведение», включавшая четыре монографии: «Аравия, колыбель ислама» (Казань, 1891; одна из первых отечественных работ по доисламской Аравии), «Коран. Религиозно-законодательный кодекс мусульман», «Шариат по школе (мазхаб) Абу Ханифы» (оба — Ташкент, 1912), «Введение в курс исламоведения» (Ташкент, 1914).

Перевод «Приключений царевича Санаубара» был опубликован Остроумовым в монографии «Сарты. Этнографические материалы. Общий очерк». «Приключения...» — одно из многочисленных названий популярной в тюркском мире народной повести (хикайе) «Санаубар (или Санобар) и Гуль». Хикайе и дестаны (героический эпос) составляли репертуар бродячих певцов (ашыков), сопровождавших рассказ игрой на сазе. Большое число повестей имели литературное происхождение. Устный нарратив фольклорной среды способствовал изменению и динамичному развитию литературных сюжетов. Каждый рассказчик выступал соавтором повествования, перестраивал и модифицировал сюжет в соответствии с собственным вкусом. В связи с этим многочисленные варианты одного и того же сказания могут существенно различаться.

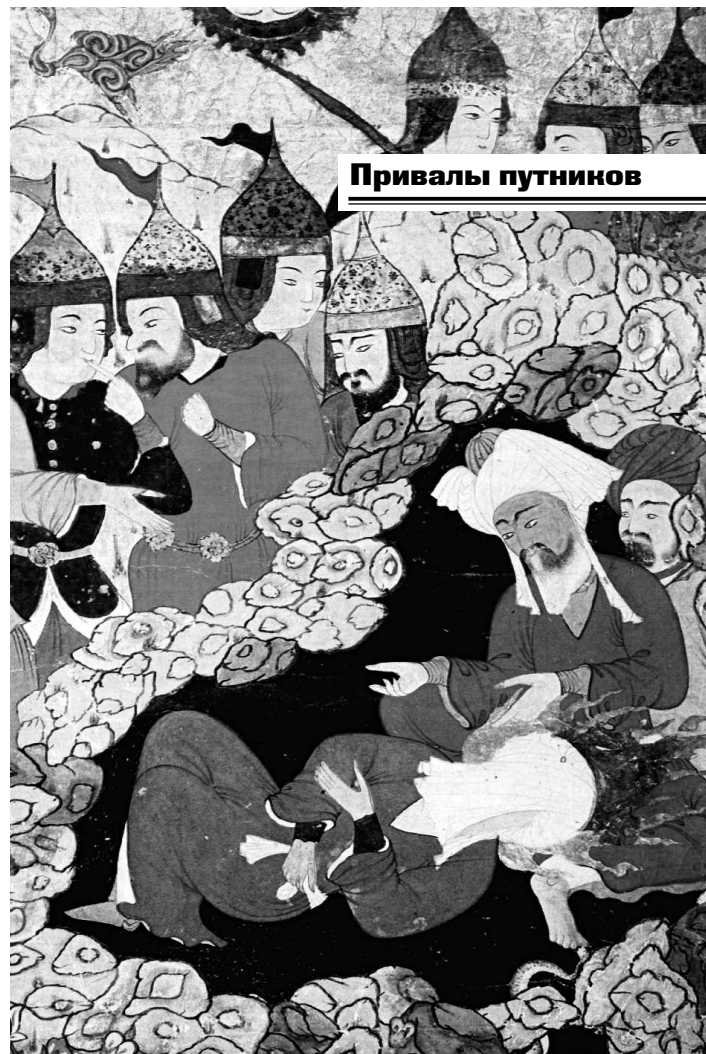
В сартской версии сказания о Санаубаре и Гуль можно выделить две линии: лирическое повествование о любви двух героев и сказочная «робинзолада» Санаубара. Первая характерна для многочисленных повестей, зародившихся в Индии и распространенных в иранском мире, а с возникновением ислама — в арабских странах, а позже — у тюрков. «Лирические» сюжеты составляют большую часть тюркских хикайе. Среди них можно выделить повествования о любви человека и сверхъестественного существа (пери). Часто подобная история заканчивается печальным концом — смертью героев, проводивших всю жизнь в поисках таинственной возлюбленной, но так и не сумевших найти ее (наиболее известная история — о Сюммани и Гульгери, во многом перекаликающаяся с нашей историей).

Вторая линия «Санаубара» — сказочная «робинзолада» восходит к т. н. «моряцким» рассказам, корни которых также связаны с индийскими повестями. Впервые зафиксированные как отдельный жанр в портовых городах арабского Востока, типа Басры, они представляли собой фиксацию отдельных рассказов моряков и купцов о реальных и вымышленных странах и их чудесах. Однако сам жанр пришел из Ирана, о чем свидетельствует как иранское происхождение литературы об описании чудес различных стран, так и сведения иранского фольклора.

Все приключения Санаубара на чужбине являются каноническими мотивами мусульманской сказочной «робинзолады»: смерть спутников героя, морской бык с жемужжиной во рту, сад, принадлежащий колдуну, встреча с царевной, становящейся в последствии подругой или второй женой героя (героиня с функциями трикстера), встреча со святым (или святыми), демонстрирующим герою быка и рыбу, на которых держится мир, страна зинджей (негров), сказочный народ с пятями вместо ног (морской старик в сказке про Синбада Морехода), встреча со сказочной птицей (Симург, Рух) и путешествие на ней и т. д. Особой разновидностью этих историй являются повествования о странствиях героя в поисках возлюбленной, которая часто также является пери и живет в волшебной стране. В отличие от упомянутых романтических хикайе, данные сюжеты, как правило, заканчиваются счастливым концом.

Наконец, яркой особенностью сартского «Санаубара» является то, что большая часть текста представляет собой прямую речь героя, написанную стихами. Стихотворные тексты в первую очередь подвергались изменениям со стороны рассказчика и часто включали его личные переживания и биографические пассажи, т. е. придавали фольклору его динамическую составляющую.

Игорь Алексеев, Павел Башарин



Привалы путников

Эхо Ливанских гор

Предлагаемые читающей публике поэмы в прозе Джебрана Халиля Джебрана (1883–1931) уже публиковались на русском языке с посвящением Л.И. Николаевой — первой и самой внимательной читательнице рукописи перевода. Их назначение (помимо очевидных учебных целей) — поддержать интерес читателя, не только арабиста, к творчеству всемирно известного ливанского автора, который стоял у истоков создания новоарабской литературы.

По аналогии с «русским космизмом» сумму взглядов Джебрана можно было бы именовать «космизмом арабским». Человек для него не жалкая частица земного праха, а существо, способное мысленным взлядом объять пределы космоса, силою же чувств дойти до начала эмоционального опыта человечества. Любимейший прием Джебрана — инверсия. Земля и небо, дух и плоть, реальность и фантазия меняются местами. В итоге создается сущение знаков и смыслов, редчайшее в мировом литературном процессе. В поэмах Джебрана есть нечто от суфийской духовности, открывающей верующему путь к мистическому озарению, как и от магии слова, которой во все века была покорна арабская литература.

В сборник включены четыре поэмы Амина ар-Рейхани (1876–1940), дабы показать, что новоарабская литература, едва возникнув, уже являла собой школу. Две из них точны («Дочь фараона» и «Соловей и ветер»), в двух других допущены истолкования ради передачи смысла («Самум») либо сохранения формы («Революция»).

Становление новоарабской литературы удивительно напоминает процесс, который в России начала девятнадцатого века привел к созданию высокой русской классики.

Владимир Волосатов

ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН

Джебран Халиль Джебран (1883–1931) — самый яркий представитель «сиро-американской» школы — литературного направления, развившегося в США в среде второго поколения эмигрантской интеллигенции из Сирии и Ливана. Джебран одновременно был даровитым писателем-романтиком и талантливым живописцем. Его перу принадлежит большое число стихотворений, сборников рассказов и повестей. В раннем творчестве Джебрана, пронизанном протестом против несправедливости окружающего мира, часто слышатся сентиментальные нотки. Венцом этого периода является повесть «Сломанные крылья». У зрелого Джебрана протест против отдельных общественных явлений разрастается в критику несправедливости, царящей повсюду и во все времена. Обывательская буржуазная философия, потягивая в пороках, с ненавистью относится к одиночкам, решившимся на бунт против несправедливости и несущим людям истину. Представления писателя об идеальном мироустройстве воплощаются в царстве вечной гармонии, эталоном которого служит природа, лишенная фальши, в которой действуют законы не предательства и чистогана, а любви и чистоты.

*«Горе тому народу, который только во сне
проклинает своих узнетелей»
Джебран Халиль Джебран*

ДУША



И бог богов отделил частицу своей души и сделал ее прекрасной.

Он сделал ее нежной, как легкий ветерок, благоуханной, как полевые цветы, мягкой, как лунный свет.

И сказал, подарив ей чашу веселья: «Пей из нее, лишь предав забвению прошлое». А затем подарил чашу печали, промолвив: «Пей из нее, чтобы постигнуть смысла радости жизни»

И вдохнул в нее любовь, исчезающую с первым вздохом удовлетворения, и сладость, исчезающую с первым произнесенным словом.

И дал ей знание, взятое с небес, чтобы вести ее по пути справедливости.

И вложил в ее глубины разум, замечательный сокровище.

И сотворил в ней чувство, порождающее грезы.

И одел в одежды страсти, сотканые ангелами из нитей радости.

И вложил в нее мрак сомнений — призрак света.

И взял огонь из горнила гнева и ветер из пустыни невежества, и песчинку с берега моря эгоизма, и прах с подножья вечности.

И дал ей слепую силу, бушующую в безумии и покорную в страстном желании, и вложил в нее жизнь — призрак смерти.

И бог богов улыбнулся и заплакал, исполнившись безграничной любви, и соединил человека с его душою.

ПЕСНЯ

Она родилась в душе, избегав воплощения в слово, и закралась в святая святых моего сердца, не желая лечь на бумагу; она трепещет на кончике языка, напоения томлением мои чувства.

Как выпустить ее в царство эфира? Кому спеть ее, подругу моей души, недоступную грубому слуху?

Взгляни мне в глаза, и ты увидишь ее призрачную тень, коснувшись моих пальцев, почувствуешь ее дрожь.

Она открывается в моих свершениях, как открывается в озере блеск ночных звезд; а в моей слезе открывается ее тайна, как в капельке росы – загадка цветка.

Она гремит в безмолвии и угасает в шуме, звучит в грезах и теряется наяву.

То песнь любви, о люди! Где же Исхак, что споет ее, где Дауд, что сыграет ее мелодию?

Кто возьмет ноту нежнее дыхания цветка фиалки? Чьи струны огласят тайну сокровеннее тайны целомудрия?

Кто соединит грохот моря и трель соловья, рев бури и вздох ребенка?

Кто из смертных исполнит песню богов?

ПЕСНЬ ВОЛНЫ

Я и берег – двое влюбленных. Пространство родит нас, а ветер несет нам разлуку.

Из-за далекого горизонта прихожу я к берегу, чтобы смешать серебро своей пены с золотом его песка и охладить дыханьем жар его сердца.

Он обнимает меня утром, слыша мой ласковый шепот, и целует вечером, внимая моей страстной мольбе.

Я реза и пуглива, а друг мой велик и мрачен. Я припадаю к его груди вместе с приливом или скромно плещусь у его ног.

Как часто резвилась я среди русалок – они играли на морской поверхности или, прильнув к рифам, разглядывали звезды; как часто вторила любящим, слыша их жалобы, и тишечно пыталась вырвать улыбку у неподвижного камня.

Немало мертвых тел я возвратила людям, отняв у бездны; немало жемчужин похитила с морского дна и преподнесла красавицам.

Я бодрствую в ночном безмолвии, когда все живое объято дремотой; пою или издаю хаю, обессиленная бессонницей; я влюблена, а любовь – это сон наяву.

Но я довольна своей жизнью, ибо сама сделала ее такую.

ПЕСНЬ ЦВЕТКА

Меня обронила природа и, как слово, взяла обратно, чтобы снова обронить на землю.

Я – дитя времен года: весна извлекала меня из чрева зимы, а лето возрастило в неге, осень же погрузила в сон.

Я – залог любви и венец брака, последняя дань живого памяти мертвеца.

Утром вместе с ветром я приветствую солнце, а вечером прощаюсь с ним вслед за стаями птиц.

Я украшаю нивы, покачиваясь в травах, и напоения воздух своим благоуханьем.

И, засыпая под взглядом бесчисленных глаз ночи, жажду проснуться, чтобы предстать перед оком дня.

Я пьянею от хмеля росы, слушая пенье жаворонков, и извиваюсь в танце под шорох зеленых ветвей.

И смотрю только вверх, чтобы не видеть своей тени: вот мудрость, пока еще не усвоенная людьми.

ПЕСНЬ ДОЖДЯ

Я украшаю долины серебряной пряжей – даром богини неба лону природы.

Я украшаю поля горстью жемчужин, похищенных феей зари из короны Астарты.

Плача, я радую травы; упав, поднимаю цветы.

Вестник страсти, гашу я жар и волнение полей, влюбленных в тучи.

Я появляюсь в сверканье молний и грохоте грома; я гибну в лучах радуги; так жизнь – восстание плоти – гаснет в деснице смерти.

Я покидаю сердца озер на крыльях эфира и опускаюсь на землю, озираю красивые нивы; я обнимаю деревья, целую уста цветов.

И тихо стучусь в хрустальные створки окон, рождая гармонию звуков, понятных для любящих душ.

Я, возникнув в теплом пространстве, гублю теплоту, как женщина

губит мужчину – источник ее силы.

Я – дыхание моря и слеза неба; я – отрада поля, напоминаю лю-

бовь: вздох равнин чувства, слезу вершин мысли, улыбку долины грез.



ПЕСНЬ КРАСОТЫ

Я — вожатый любви, вино духа и улада сердца; розой, что поверила тайны свои юному дню, я украсила грудь девушки, согрешив меня поцелуем.

Я — обитель счастья, источник радости и начало покоя; нежной девичьей улыбкой я одарила юношу, покинувшего мир скорби на крыльях своих грез.

Я — муза поэта, вдохновительница художника и спутница музыканта.

Взглядом ребенка я предстала любящей матери, и она преклонила колени в жаркой молитве.

Я открыл Адаму очарование Евы, сделал мужчину рабом женщины, а Сулейману привиделась девушка с прелестным станом, сделал его мудрецом и поэтом.

Я улыбку счастья, Елене, разрушив Троию, и короновала Клеопатру, наполнив радостью долину Нила.

Как судьба, я разрушаю сегодня воздвигнутое вчера; я — богиня, начало жизни и смерти.

Я нежнее дыхания цветка фиалки и сильней урагана.

Я — истина, о люди!

Я — истина, источник высшего знания.

ПЕСНЬ СЧАСТЬЯ

Человек — мой любимый, и я — его возлюбленная. Я тоскую о нем, и он бредит мною, но в любви у меня соперница, причиняющая мне горе, а ему — муки. Это — плоть, что, как строгий надсмотрщик, не спускает с него глаз и неотступно следует рядом.

Я напрасно ишу любимого в рощах и близ озера; подавший соблазну, он ушел за ней в город, к судолюке, порокам и страдающим.

И я не встречаю его в храмах знания и часовнях мудрости, ибо разлучница, обрядившись в платье из праха, увлекла его во дворцы эгоизма, где живет безрассудство.

И я не нахожу моего друга в полях удовлетворения, ибо она держит его в цепях в пещере алчности.

Я зову любимого утром, когда улыбаются зори, и не слышу ответа, ибо тяжелый сон смежил его веки; и я ласкаюсь к нему вечером, когда дарит безмовие и засыпает цветы, но он не внимает моим ласкам, ибо желание узнать, что случится завтра, поглощает его мысли.

Человек любит меня и ищет в трудах, но находит только в деяниях духа; он ищет меня во дворце славы, воздвигнутом на костях мучеников, а я жду его в храме простоты, построенном богами на берегу реки чувств. Он жаждет поцелуя на глазах у преступника и тирана, а я открываю ему уста только среди цветов невинности. Он стремится завладеть мною хитростью, а я доступна лишь бескорыстию и доброте. Соперница моя научила его крикам и брани, я — слезам жалости и вздохам успокоения.

Но мой любимый принадлежит мне, как я принадлежу ему.

ВОЛШЕБНИЦА

Куда ты ввечешь меня, волшебница?

Как долго буду я следовать за тобой по этой кремнистой, покрытой терниями дорожке, вьющейся среди скал? Она ведет нас на вершину горы и низвергает в пропасть наши души.

Я последовал за тобой, как ребенок за матерью, и забыл свои грезы, любуясь твоей красотой. Как ослепленный, я не замечал призраков, увлекаемый тайною силой, скрытой в тебе.

Остановись на мгновение, дай взглянуть тебе в лицо, ибо твои глаза откроют мне тайны и сокровенные думы твоего сердца.

Остановись, волшебница, ибо силы мои слабеют, а душа замирает от страха на этом опасном пути; ведь мы уже достигли перекрестка, где сходятся дороги жизни и смерти, и я не сделаю больше ни шага, пока не узнаю о помыслах твоего духа и веле-ниях сердца.

Вслушай меня, волшебница!

Еще вчера я был вольной птицей, что днем свободно парит в пространстве, а по вечерам опускается на зеленые ветви и любитесь дворцами и храмами в городе разноцветных облаков, который солнце возводит на закате, а ночь разрушает в сумерках.

Я был свободной мыслью, пронесившейся над морями и землями, радовался прелестям и наслаждениям жизни, постигая сокровенные тайны бытия.

Саовно сон, витал я на крыльях ночи: проникая в опочивальни девственников, я играл их чувствами; спрятавшись у изголовья юношей, пробуждал надежды и стремления; проникнув в покои стариков, слушал их исповеди.

Но сегодня, встретив тебя, о волшебница, и вкусив яда из рук твоих, я стал подобен пленнику, который влечит свои окопы неведомо куда, я опьяняюсь вином, лишаяющим меня воли, и целую ударившую меня длань.

Остановись же, волшебница! Силы вернулись ко мне, я сбросил цепи и разбил чашу, из которой пил яд, доставлявший мне наслаждение. Скажи, что нам делать теперя и какую избрать дорогу.

Я вновь обрею свободу — хочешь ли ты, чтобы я был тебе преданным другом, который, не мняга, смотрит на солнце и касается огня недоронувшими пальцами?

Мои крылья снова раскрялись — будешь ли ты спутницей юноши, который днем, как орел, кружит над вершинами гор, а ночью, как лев, уходит в пустыню? Согласна ли ты принять любовь юноши, который видит в возлюбленной друга и отвергает господина? Довольно ли тебе страсти сердца, которое остается твердым, воспаляясь, и знает безумие любви, но отвергает покорность? Будешь ли ты рада чувствам мятежной души, которую не в силах поколебать волнения стихий? Примешь ли ты меня спутником, который не хочет быть рабом, но и не жаждет власти?

Если ты согласна — прекрасной рукою коснись моей руки, обними меня и поцелуй дологим, глубоким, немым поцелуем.

У ВРАТ ХРАМА

Я очистил душу мою священным огнем, чтобы говорить о любви, но уста мои были безмолвны.

Я пел о любви, не изведав ее, но когда она проникла в мое сердце, в слабый шепот перешел мой голос, в мертвое глубокое молчание превратилась мелодия в моей груди.

В прошлом, о люди, вы спрашивали меня о чудесах и тайнствах любви, и я отвечал вам, и вы были довольны мною, а теперь, когда я стал ее рабом, я обращаюсь к вам: можете ли вы раскрыть мне тайны моего сердца и поведать о волшебных чарах любви, покоривших мою душу?

Что за пламя горит в моей груди, сжигая мои силы, возбуждая чувства и стремления?

Что за невидимые руки сжимают мою душу в часы одиночества, опьяняя ее вином, смешанным с горечью наслаждения и сладостью боли?

Что за крылья осеняют мою опочивальню в тишине ночи, когда я, лишенный сна и покоя, пытаюсь постигнуть неведомое, услышать неслышимое, проникнуть в невидимое, понять непознаваемое, почувствовать непостижимое? Я рыдаю, ибо звуки рыданий дороже мне звонкого смеха, и невидимая сила, подчинившая мою волю, словно игрушкой, играет мною, вознося меня в заоблачные выси или низвергая в бездну, а на заре, когда лучи солнца проникают в мою опочивальню, засыпаю на жестком ложе, убаюкиваемый мечтами, но перед моими устами веками по-прежнему носится ночные призраки.

* * *

Что такое любовь?

Кто расскажет мне об этой вечной и непостижимой тайне, живущей в сознании людей, об этой великой сущности — причине всех следствий и следствии всех причин, об этой неведомой силе, творящей из жизни и смерти мечту, более прекрасную, чем жизнь, и более мрачную, чем смерть?

Кто из вас, о люди, не воспринмет от сна жизни, если любовь коснется его своей дещней?

Кто не покинет дом, отца и мать, услышав зов возлюбленной своего сердца?

Кто не пересечет моря и пустыни, долины и горы для встречи с любимой?

Кто не пойдет на край света, чтобы насладиться ласками красавицы, ароматом ее дыхания и нежностью ее голоса?

Кто не сожжет свою душу перед алтарем богини, благосклонной к его молитвам?

* * *

Вчера у врат храма я спрашивал прохожих о чудесах и тайнствах любви.

«Любовь — это извечная слабость, унаследованная от первого человека», — печально ответила мне мрачный худой мужчина.

«Любовь — это сила, таящаяся в людях, связывающая их жизнь с жизнью поколений — еще грядущих и уже исчезнувших», — ответила сильный, широкоплечий юноша.

«Любовь — это отравленное дыхание змей, живущих в адских пещерах; его пары выпадают на землю в каплях росы, и страждущие души людей утоляют ею жажду, всего один миг испытывают опьянение, целый год приходят в себя, а затем засыпают навеки в объятиях смерти», — ответила со вздохом женщина, в глазах которой застыла грусть.

«Любовь — это живительная вага, которой феи зари орошают души смелых, заставляя их молча парить под звездами и с песней возноситься к солнцу», — ответила розовощекая девушка.

«Любовь — это невежество, порождаемое юностью и умирающее вместе с нею», — уग्रомо ответил бородастый старик в черных одеждах.

«Любовь — высшее знание, просветляющее разум, позволяющее ему глядеть на мир глазами богов», — сказал, улыбаясь, мужчина с ясным и чистым лицом.

«Любовь — это густой туман, окутывающий душу и скрывающий от нее красоту жизни, ибо она видит лишь призраки своих грез среди скал и слышит лишь эхо своего голоса, отраженное в пустоте долины», — ответил слепой, сердито постучав посохом.

«Любовь — это волшебный луч, исходящий из глубин чувственности; мир в его свете кажется караваном, идущим по зеленоющим нивам, а жизнь — прекрасной мечтой, трепещущей во мраке ночи», — сказала, напевая, юноша, несший за плечами кифару.

«Любовь — отдых для тела в безмолвии могилы и покоя для души в глубинах вечности», — ответил согбенный старик, с трудом передвигавший ноги.

«Любовь — это мой отец, любовь — это моя мать, и я не знаю иной любви!» — ответил пятилетний мальчик и рассмеялся.

И люди, проходившие мимо врат храма, целый день говорили мне о любви и раскрывали передо мной свои души, пытаясь объяснить тайну жизни.

А вечером, когда стихли шаги прохожих, я услышал неведомый голос, идущий из глубины храма: «Жизнь — двойственна, ибо часть ее подобна холодной льдине, а другая — пылающему огню; любовь — это пламя!»

И я вошел в храм и, упав на колени, крикнул с мольбою в голосе:

«О могучий творец, испепели меня в пламени, сделай пищей для священного огня!»



ПОДРУГА

Первый взгляд

Это – минута, разделяющая опьянение и явь жизни, первая искра, осветившая тайники души, первый волшебный звук первой струны кифары человеческого сердца, короткое мгновение, которое повестует душе о событиях минувших дней, открывает ее глазам загадки ночи, показывает ей деяния разума в этом мире и раскрывает тайну вечности в грядущем. Это – семя, брошенное с неба Астартой. Отраженное глазами, оно падает на ниву сердца и, возвращенное чувствами, приносит плоды душе. Первый взгляд подруги подобен духу, который парил над водами, и от него пошла земля и небо. Первый взгляд спутницы жизни подобен слову Всевышнего: «Да будет!»

Первый поцелуй

Это первый глоток из кубка, который боги наполнили нектаром любви. Это граница между сомнением, которое печалит сердце, и истиной, которая наполняет его радостью. Это начало поэмы жизни духа и первая глава из книги человеческого разума. Это нить, связывающая чудеса прошлого с величием грядущего, соединяющая безмолвие и пение чувств. Это слово, произносимое юношей и девушкой, которое навеки провозглашает сердце трюном, любовь – царницей, а верность – короной. Это нежное прикосновение, похожее на ветерок, ласкающий лепестки роз; в нем – долгий садоводный вздох и тайный шаркающий стон. Это начало волшебных потрясений, которые уносят влюбленных из мира реальностей в мир вдохновения и грез. Это слияние пиона и лилии, смешение их дыхания, рождающее новый цветок. Если первый взгляд напоминает семя, брошенное богиней любви на ниву человеческого сердца, то первый поцелуй подобен первому цветку на первой ветви древа жизни.

Брак

Именно здесь любовь начинает слагать поэму жизни и создавать из смысла бытия крепость, восплаемую временем. Именно здесь страсть срывает покровы с загадок минувшего и создает из крупиц наслаждения счастье, с которым может сравниться лишь счастье души, обнимающей своего востелана. Брак – это союз двух божеств во имя возникновения на земле третьего божества; это соединение двух, сильных в своей любви, для борьбы с вечностью, слабый в своей ненависти, это смешение красок, рождающее цвет, подобный цветку небес перед восходом солнца. Это отказ двух душ от протivoречий и слияние их в союзе. Это золотое звено в цепи, начало которой взгляд, а предел – бесконечность, это прозрачный дождь, алыющийся с чистого неба на священную природу, чтобы пробудить к жизни силы благоволенных полей. Если первый взгляд возлюбленной напоминает семя, брошенное любовью на ниву сердца, а первый поцелуй ее уст подобен первому цветку на ветви жизни, то брак – это плод первого цветка, выросшего из первого семени.

ЖИЗНЬ ЛЮБВИ

Весна

Приди, любимая, и мы вместе побродим среди холмов. Стаял снег. Жизнь покинула свое опочивальное и заиграла на скалах и в глубинах долин. Последуем за весною в далекое поле, поднимемся на пригорок и полюбуемся морем волнующейся зелени.

Смотри, как заря весны, скрытая долом зимним мраком, распахнула одежды и набросила их на яблони и мишадельные деревья, похожие теперь на невесту в день свадьбы. Проснулись виноградные лозы, обвив беседки объёмом влюбленных. Ручьи заплясали среди камней, исполняя гимн радости. Из самого сердца природы вышли цветы, как пена из глубин моря.

Присядем возле того камня, за которым прячется фиалка, и соединим в поцелуе нашу уст.

Лето

Выйдем в поле, любимая. Настало время жатвы. Колос созрел, его оплодотворила горячая страсть солнца к земле. Идем же, пока нас не опередили птицы и не насытились плодами наших трудов, пока полчища муравьев не завладели нашими полями. Позже плоды земли, как душа пожинает плоды счастья, вырастят из семян верности, брошенных любовью в глубины сердца. Напомним закрома дарами природы, как жизнь наполняет сердце дарами чувств.

Приляжем на траву, укрывшись небом, подложим под головы снопы мягкой соломы и отдохнем от дневных трудов, слушая пенье ручья.

Осень

Пойдем в виноградник, любимая, и выжмем сок, и соком напоим кувшины, как мудрость веков наполняет души, и соберем сухие плоды и душистые травы.

Все завершено. Вернемся. Листья деревьев поблекли, и ветер разбросал их по нивам, будто желая укрыть саваном цветы, умершие в муках на исходе лета. Птицы улетели к побережью, унеся с собою радость лугов, и жасминовые деревья, оставшись в одиночестве, роняют последние слезы на обнаженную землю.

Вернемся. Ручьи прекратили свой бег, источники осушили слезы. Идем же, любимая. Природа засыпает и грустной волнующей песней прощается с жизнью.

Зима

Придвинься ко мне, спутница моей жизни, и нас не разучит дыханье снега. Сядь рядом со мною у очага. Пламя – чудеснейший плод зимы. Расскажи мне о том, что было. Уши мои устали от воя ветра и рыдания выюги. Закрой окна и двери. Непогода печалит душу, а вид города, осунувшегося под снегом, как мать, потерявшая ребенка, ранит сердце. Подлей масла в гаснущий светильник и поставь его ближе к себе, чтоб я мог прочитать строки, начертанные подами на твоём лице. Придвинь-ка кувшин с вином. Выпьём, чтоб вспомнить о времени сбора винограда.

Ближе, еще ближе, подруга моей души. Пламя в очаге гаснет под пеплом. Светильник потух, побежденный мраком. Зренью ослабло от хмеля времени. Взгляни на меня глазами, борющимися с дремотой. Обними меня, пока сон еще не смежил мои веки. Поцелуй меня – всепобеждающий снег тает от твоего поцелуя. О любимая, как глубоко море вечного сна! Как далеко утро.. в этом мире!

ГОРДАЯ ФИАЛКА

В уединенном саду росла фиалка. Красивая и благоухающая, она жила счастливо в кругу своих подружек, радостно покачиваясь среди трав.

Однажды утром она подняла головку, увенчанную каплей росы, и увидела рядом с собой розу, которая гордо тянулась вверх на стройном стебле, напоминая алый язычок пламени над изумрудной лампадой.

Фиалка открыла свои голубые уста и печально сказала: «Я самая несчастная среди цветов и трав! Маленькой и жалкой создала меня природа, ибо я живу у самой земли и не могу, как роза, тянуться к небу и смотреть на солнце».

Роза усмехнулась, услышав ее слова. «Глупая, — сказала она фиалке, — ты не знаешь цены своему счастью. Природа наградила тебя изяществом, красотой и ароматом, о которых другие цветы только мечтают! Оставь ложные надежды и стремления, будь довольна своей судьбой и помни, что в смиренности — сила, а честолюбие ведет к гибели!»

И фиалка ответила ей: «Ты утешаешь меня, о роза, имея все, о чем я мечтаю, ты пригибаешь меня к земле своею мудростью, ибо ты величественна и прекрасна. Как много горечи для несчастных в словах счастливых, как жестоки проповеди смильного, обращенные к сердцам слабых!»

Природа услышала разговор розы и фиалки и удивленно спросила: «Что с тобою, дочь моя, фиалка? Я знала тебя маленькой и нежной, прекрасной в скромности и честной в бедности, а теперь ты послушалась голоса низких чувств, очарованная ложным величием?»

И фиалка ответила ей голосом, исполненным страсти:

«О мать-природа, великая в своем могуществе и безграничная в своей любви! Я прошу тебя о милости — сделай меня розой хотя бы на один день!»

«Ты не понимаешь, о чем просишь, — сказала ей природа, — и не знаешь, какие беды скрыты за внешним великолетием. Если я превращу тебя в розу, сделаю высоким и стройным твой стебель и изменив твой облик, ты раскрасься, но будет поздно!»

«Сделай меня розой с крепким стеблем и гордой головкой, — сказала фиалка, — и пусть я стану жертвой моей страсти!»

«Я выполняю твою просьбу, о невежественная и непокорная фиалка, — ответила ей природа, — но если тебя постигнет несчастье, ты одна будешь виновна в этом».

И природа своими невидимыми волшебными пальцами коснулась корневой фиалки, превратив ее в пышную розу, возвысившуюся над другими цветами и травами. Но после полудня забуртовалось небо; закутавшись в плащ из черных туч и опоясавшись бурей, оно содрогалось от грома и биласяло молнией, обрушившись на землю шквалом дождя и ветра, которые ринулись в сады и поля; сметая все на своем пути: стигая стволы, ломая ветви, вырывая с корнем гордые цветы, — они не тронули лишь маленькие душистые травы, растущие у самой земли или среди скал.

А уединенный сад пострадал больше других садов от волнений стихии.

Когда утихла буря и небо освободилось от туч, цветы оказались разбросанными по всему саду, словно груды зеленых палинок, и уцелели лишь фиалки, росшие у самой изгороди.

Одна молодая фиалка подняла свою головку и, увидев, что произошло с цветами и деревьями сада, сказала своей подруге:

«Посмотри, что сделала буря с гордыми цветами и травами».

«Мы живем у самой земли, — сказала другая, — но это спасает нас от гнева дождя и урагана».

«Мы ничтожны и малы, — сказала третья, — но буря не в силах справиться с нами».

А королева фиалок, осмотревшись вокруг, заметила вдруг розу, которая недавно была фиалкой, — буря вырвала ее с корнем, рассеяв ее лепестки по влажной траве, и она медленно умирала, как воин, сраженный стрелой врага.

И королева, расправив листочки и выпрямив свой стебелек, сказала своим подругам: «Смотрите, дети мои, на эту честолюбивую фиалку, превращенную в розу! Один лишь час нас наслаждалась она своим величием, а теперь низвергнута в бездну!»

А роза встрепенулась и сказала дрогнувшим голосом, собрав остаток сил:

«Слушайте меня, самодовольные, живущие в страхе перед стихией! Вчера я, подобно вам, была довольна моей судьбой и наслаждалась благополучием и покоем, отделенная крепкой стеной от бурь и волнений жизни. Так же, как и вы, я могла бы безмятежно прожить до зимы и умереть потрепанной под снегом, подобно моим предкам, зная о тайнах мира лишь то, что знают фиалки; я могла бы подавить в своей душе стремления, для которых я слишком ничтожна, и отказаться от вопросов, недоступных моему пониманию, но я слышала, как высший мир говорил этому миру: «Цель жизни — стремление к тому, что выше жизни!» И моя душа восстала против моей души, и мой разум возвысился над моим разумом, и этот бунт против себя самой превратился в могучую силу, а стремление к тому, что выше меня, стало непреклонной волей, и я умолила природу (а природа — это лишь внешнее выражение наших тайных мечтаний) сделать меня розой, и она исполнила мою просьбу... Как часто изменяет она чуткими и нежными пальцами облик своих творений!»

И роза смолкла, но через минуту вновь сказала голосом, полным гордости и превосходства:

«Тот, кто прожил один лишь час розой, прожил этот час королевой. Я смотрела на мир глазами розы, слышала шепот эфира ее ушами, ее листочки впитывала в себя свет солнца. Может ли кто из вас удостоиться такой чести?»

И она согнула шею и сказала почти бессильно:

«Я умираю, но в моей душе есть нечто большее, чем в душах простых фиалок, ибо я видела свет за пределами мира, в котором я рождена, а в этом — цель жизни, в этом ее суть, скрытая за случайностями времени».

И роза сложила свои листочки, затрепетала и умерла, а на устах ее застыла божественная улыбка победителя, чьи мечты осуществляла жизнь.



О НОЧЬ!

О ночь влюбленных, певцов и поэтов!

О ночь призраков, духов и грез!

О ночь страсти, юности и воспоминаний!

О титан, шествующий среди ничтожных облаков заката и отблесков зари, опоясанный мечом страха, увенчанный луною, укрытый плащом безмолвия; тысячами глаз заглядываешь ты в глубины жизни, тысячами ушей вслушиваешься в стоны небытия.

Ты — темнота, открывающая нам сияние звездного неба, а день — это свет, ослепляющий нас земным мраком.

Ты — надежда, от которой прозревает разум перед величием бесконечности, а день — ослепляющее тщеславие в мире реальности.

Ты — тишина, открывающая в своем молчании тайны духов, витающих в небесном пространстве, а день — шум, пробуждающий души поверженных стонами алчности и вождения.

Ты справедлива, ибо на крыльях сна уносишь грезы слабых и желания сильных, и милосердна, ибо своими невидимыми перстами закрываешь глаза несчастных, унося их сердца в мир доброты и покоя.

Влагой, сокрытой в складках твоей одежды, утомят жажду влюбленные, у ног твоих, мерцающих каплями росы, роняют слезы пленники грусти, в твоих ладонях, благоухающих ароматом долин, покинутые и одинокие прячут вздохи любви и страсти; ты — подруга влюбленных, утешительница плененных грустью, спутница покинутых и одиноких.

В твоей тени загораются чувства поэтов, на твоих плечах пробуждаются сердца пророков, в прядях твоих волос скрыт разум мыслителей; ты — светоч поэтов, вдохновение пророков, источник мудрости мыслителей и ученых.

Когда душе моей стало скучно среди людей, а глаза утомились от света дня, я ушел в далекие края, где покоятся призраки минувших времен.

И я увидел пред собой многомокое мрачное нечто, шествующее тысячьою ног по полям, горам и долинам.

Вглядываясь в темноту, я слышал шелест невидимых крыльев и, чувствуя прикосновение одежды безмолвия, был стойким к ужасам мрака.

Там я встретил тебя, о ночь, — прекрасный и страшный призрак, возвышающийся между землей и небом в одеянии, сотканном из нитей облаков и тумана; ты насмеялась над суетою дня, издевалась над рабами, бодрствующими перед идолами, и измывала гнев на владык, спящих в шелках и парче; ты заглядывала в лица разбойников и охраняла спящих детей, оплакивала улыбки падших и улыбалась слезам влюбленных, возносила к небу благородных сердцем и попираала слабых душою.

Мы увидели друг друга, о ночь, ты была мне матерью в своем величии; я же в мечтах — твоим сыном; нас более не разделяли условности бытия, а наши лица освободились от маски сомнений; я открыл тебе мои тайные стремления, ты же поведала о сво-

их чаяниях и надеждах; и твое пугающее безмолвие превратилось в мелодию, нежную, как шепот цветов, а мои волнения сменялись покоем, чарующим, как безмятежность ласточек. Ты вознесла меня на свои плечи и научила искусству видеть, слышать и говорить, научила мое сердце любить то, что не ценят другие, и ненавидеть почитаемое ими; ты коснулась перстами моего разума, и мысли хлынули бурным потоком, сметая увядшие травы; коснулась устами души, и она вздрогнула, как огненная искра, что сжигает сухие стебли.

Я был твоим спутником, о ночь, и во многом уподобился тебе. Я подружился с тобой, о ночь, и слиялся воедино наши надежды, я полюбила тебя, и сознание мое стало уменьшенной копией твоего бытия; в моей мрачной душе — мириады сверкающих звезд, рождаемых страстью в сумерках и исчезающих утром под властью таинственных сил; в страждущем сердце — луна: она гордо льет в пространство, то скрываясь в облачных высях, то появляясь в пустоте, заполненной караванами снов. В бодрствующей душе моей — безмолвие, постигающее тайны влюбленных и отражающее эхо молитв верующих; над головой лучезарное сияние, которое исчезает, когда я слышу предсмертные стоны сражающихся, и появляется вновь при звуках песен, прославляющих женщину.

Я такой же, как ты, о ночь, и сотнут ли меня люди гордецом за это, если сами они подобны огню в своей гордости?

Я подобен тебе, ибо нас обоих обвиняют, когда мы правы.

Я подобен тебе, хотя вечер и не увенчивает меня золотистыми облаками.

Я подобен тебе, хотя утро и не касается розовыми лучами края моих одежд.

Я подобен тебе, хотя и не опоясан Млечным Путем.

Я исполнен спокойствия, необъятен и бескраен, как ночь, и нет начала моему мраку и конца моим глубинам, и если души других сверкают огнями радости, мое сердце напоено мраком грусти.

Я подобен тебе, о ночь, и исчезну с рассветом.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Двадцать пять лет назад меня родила мать.

Двадцать пять лет назад я перешел из мира безмолвия в мир неумокающих распрей и споров.

Двадцать пять лет я враждался вокруг солнца. Не знаю, сколько раз вокруг меня обернулась луна. И все же я не мог проникнуть в тайны света, познать загадки мрака.

Двадцать пять лет я подчинялся той же силе, что и земля, луна, солнце и звезды, и вот уже душа моя, словно ушелье, вторящее ропоту морских волн, шепотом произносит таинственное имя, но, будучи жива ее существованием, не знает ее природы и, напевая мелодии ее песен, не может постичь ее существа.

Двадцать пять лет назад время внесло в книгу этого удивительно страшного мира слово, что иной раз лишено смысла, а иногда исполнено значения.

Раз в году, как сегодня, грезь, мысли и воспоминания осаждают мою душу. Призраки прошлого на миг являются моему взору и исчезают, словно тучи, разгоняемые ветром, пропадающая в углах моей комнаты так, как в далеких безлюдных долинах теряется голос сакки.

Духи, созданные моей фантазией, слетаются со всех концов света и грустным хором исполняют гимн прошлого, потом один за другим исчезают, как птицы, покидающие гумно, где не нашли зерен.

Жизнь в этот день предстает предо мною тусклым зеркалом: вглядываясь в него, я замечаю лишь мертвецкую бледность на лице прошлого и старческие морщины в чертах грез, надежда и чаяний. Я закрываю глаза; а когда открываю снова, то вижу свое лицо, потом — грусть, и пробую заговорить с нею, но грусть нема — она была бы слаще блаженства, если бы обладала даром речи.

В течение двадцати пяти минувших лет я много любил; часто мне нравилось то, что ненавидят другие, а предмет их восторгов вызывал ненависть. Я до сих пор люблю все, что любил юношей. То же, что люблю сейчас, буду любить до конца жизни. Любовь моя — это благо, которое всецело принадлежит мне и будет принадлежать вечно.

Я любил смерть и воспевал ее втайне и открыто, называя ласковыми именами; не забывая смерти, не нарушая данного ей обета верности, я полюбил жизнь. Жизнь и смерть одинаково прекрасны в моих глазах; вместе они воспитали мои чувства и желания, взрастали любовь и нежность.

Я любил свободу, и любил ее тем больше, чем больше наблюдал, с какой покорностью люди сносят унижение и насилие, повинувшись страшным идеалам, изванным веками невежества, установленным силою мрака, отполированным пожеланиями преданных уст. Но я любил и рабов так же, как любил свободу, ибо ждала их — слепцов, идеальную пасть зверя, глотающих воздух, отравленный ядовитым дыханием скорпионов, своими руками роющих себе могилы. Но больше всего на свете я любил свободу, ибо встретил ее девой, истрадавшей в одиночестве: похожая на призрак, она брела среди домов и останавливалась на перекрестках, обращаясь к людям, которые проходили мимо, не слыша ее голоса.

В течение двадцати пяти лет я, как и все, любил счастье. Вставая утром, я искал его там же, где ищут другие, но ни разу не встретила его в толпе, не заметила следа его ног на

песке, окружающем дворцы, не услышала эха его голоса из окон храмов. Когда же стал искать его в одиночестве, душа шепнула мне на ухо счастье — дева, рожденная в глубинах сердца, оно не приходит извне. И я раскрыл свое сердце, желая обрести счастье, но нашла лишь его зеркало, ложе и платье: самого же счастья там не было.

И я любил людей, любил всех — и тех, кто прокидала жизнь, и тех, кто благословляла ее, и тех, кто размышляла над нею. Первым я сочувствовала в горе, вторыми восхищалась ее великодушие, третьих почитал за любознательность.

Так прошло двадцать пять лет. Так, в спешке, сменяя друг за другом, мелькали дни и ночи, словно листья, срываемые с дерева осенним ветром.

Сегодня же, остановившись в раздумье, как путник, преодолевший половину трудного пути, я оглядываюсь назад и не вижу ничего такого, о чем я мог бы сказать: это принадлежит мне. Весь урожай этих лет — листки бумаги, испещренные черными чернилами, и странные рисунки разных форм и расцветок. В них я сокрыл свои чувства, мысли и грезы, как сеятель, что бросает зерна в борозды.

И ныне, миновав этот рубеж своей жизни, когда прошлое предстает мне в тумане сожалений и вздохов, а будущее скрыто пеленою прошлого, я смотрю на мир из-за стекла своего окна и вижу лица людей, слышу их голоса, поднимающиеся в пространство, и топот их ног на улице; чувствую трепет их мысли, волнение чувств, ощущаю биение сердца. Вот дети, бегающие наперегонки, с хохотом бросают друг в друга горсти песка. Вот идут юноши, гордо вскинув головы, будто читая поэму о молодости, начертанную лучами солнца на кайме облаков, а девушки, покачиваясь, как ветви, и улыбаясь, словно цветы, украдкой бросают на них взгляды из-под дрожащих ресниц. Вот бредут старики, согнув спины и опираясь на палки, будто ищут на земле потерянные драгоценные камни. И я окидываю взором окрестности города и вижу пустыню в ее ужасающем великолепии и красноречивом молчании и горы, рвущиеся ввысь, и пропасти, опускающиеся в бездну, и пышные деревья, и волнующиеся травы, и благоухающие цветы, и поющие реки, и стаи щебечущих птиц. А дальше вижу море со всеми чудесами и тайнами, скрытыми в его глубинах, и любовью пенной стремительных волн, неистовых в своем гневе, и клубами пара, что облаками поднимаются к небу и в струях дождя возвращаются к земле. И бросаю взгляд за море, и вижу мириады летящих миров и сверкающих звезд, солнце и лун, скопища блуждающих планет и твердей, движимых противоборствующими силами, исчезающих и возникающих заново, послушных безграничному и бесконечному закону, чье начало не знает начала, а конец не имеет конца.

И глядя на это из-за стекла моего окна, я забываю о двадцати пяти прожитых мною веках, о том, что было, и о том, что будет, и чувствую себя, как и окружающий меня мир, чистейшей дыхания ребенка, потерянной в пустоте, не знающей ни конца, ни края. И все же я ощущаю жизнь этой песчинки, этой души, этого существа, именуемого моим «я», чувствую его движение и слышу ее голос. В день, явивший ее свету, она, взмахнув крыльями, простерла руки и поднялась к небу, воскликнув голосом, идущим из святая святых ее сердца: «Здравствуй, земля! Здравствуйте, явь и сон, здравствуй, день, светом своим поинвоищий мрак ночи, здравствуй, ночь, мраком своим явившая свет неба! Здравствуйте, времена года: ты, весна, возвращающая земле ее молодость, и лето, поющее здравцу солнцу, и осень, одаряющая усилия добрыми плодами, и зима, повторяющая неистовостью своей подвиги природы! Здравствуйте, годы, раскрывающие то, что скрыто временем! Здравствуй, дух, охраняющий жизнь, скрытый от людского глаза лучами солнца! Здравствуй, сердце, пусть ты не в силах возрадоваться, будучи полно слез! Здравствуйте, уста, пусть вам не дано сказать слово привета, не ошутив привкуса горечи!»

ЗЕМЛЯ

О, как ты величава и прекрасна! Как беспорочна в стремлении к свету и благородна в покорстве солнцу!

Нет прелестней тебя, опоясанной тенью, укрытой пеленой мрака.

Нет сладостней гимнов твоей зари, и нет ужасней кошмаров твоей ночи.

Я бродил по твоим равнинам и поднимался в горы, опускался в долины и карабкался на скалы, входил в твои пещеры; и я знал тебя в кротости и гордыне, в покое, волнении и скрытности: ты простиралась, исполненная силы, уходила ввысь в скромности и падала ниц в могуществе, ты была доброй в непреклонности и ярко светилась в тумане.

Я плавал по твоим морям и рекам, следовал за ручьями и слышал, как вечность говорит устами твоих приливов и отливов, время играет песни среди возвышенностей и холмов, и жизнь говорит с жизнью в ущельях и на склонах: ты — уста и язык вечности, арфа и персты времени, слово и мысль жизни.

Весна застала меня в роще, окутан паром твоего дыхания; лето привело в поля, где наполняются соком плоды твоего труда; осень встретила на винограднике, превращающем кровь твою в жизнетворную влагу, а зима спрятала в опочивальне под снегом твоей чистоты: ты благоухающа весной, щедра летом, обильна осенью и невинна зимой.

Ясной ночью я распахнул двери и окна своей души и вышел к тебе, земля, сторбленный бременем вождедений, связанный путами эгоизма, а ты любовалась звездами, посылающими тебе свои улыбки, и я обрел свободу, поняв, что приют духа — твоё пространство, его желания — твоя воля, мир его — твой мир, а счастье — та золотая пыль, что звезды рассыпают на твоей поверхности.

Ночью, усеянной звездами, я вышел к тебе, утомленный костностью и безразличием, а ты, как могучий титан, опоясанный бурей, настоящим сокрушила прошлое, новым ниспровергла старое, силой побеждала слабость, и я понял, что и люди в жизни своей следуют твоим законам, подчиняются твоим порядкам и обычаям: кто, как ветер, не ломает сухие ветви, умирает от скуки, кто не сметает, как буря, груды гнилых листьев, погибает от лени; тот же, кто не предаёт забвению мертвое прошлое, сам погребает себя в могиле минувших дней.

Нет терпеливей тебя, земля, благородней и выше духом!

Ты исполнена великой любви к нам, детям своим, пренебрегшим истиной ради вымысла, потерявшим в пути между действительностью и призраками своих грез.

Мы оскорбляем слух твой бранными криками, а ты даришь нас улыбкой.

Мы живем в суете, а ты предаешься раздумьям.

Мы богохульствуем, а ты призываешь на нас благословение.

Мы наполняем мир скверною, а ты очищаешь его своею святостью.

Мы спим, не видя снов, ты же наслаждаешься сновидениями и в своем великом бодрствовании.

Мы раним грудь твою копьями и стрелами, а ты исцеляешь наши раны маслом и бальзамом; мы разбрасываем на просторах твоих кости и черепа, а ты выращиваешь из них тополя и ивы.

Мы хороним в недрах твоих трупы, ты же наполняешь наши гумна снопами, а корзины — гроздьями винограда.

Мы оскверняем чело твое кровью, а ты омываешь наши лица водами Каусара.

Мы творим из плоти твоей смертоносное пламя, а ты превращаешь наши останки в розы и лилии.

Нет милосердней тебя, земля, и нет возвышенней твоей любви!

Кто же ты?

Частица ли праха, вылетевшая из-под стопы бога, что шагнул через вселенную, или искра из горнила бесконечности?

Семя ли, что проросло в полях эфира, божественным стebelем уйдя за его пределы?

Капля крови властелина титанов, капля пота с его чела?

Плод ли, что медленно поворачивается вслед за солнцем на древе истины, уходящем корнями в глубины вечности, а ветвями — в просторы бессмертия? Или ты — драгоценный камень, вложенный богом времени в руку богини пространства?

Ребенок ли ты в объятиях космоса или старец, что наблюдает за бегом времени, проникаясь его мудростью?

Кто ты, земля?

Ты — часть моего существа: око мое и зрение, разум и фантазия, голод и жажда, радость и горе, равнодушие и внимание.

Ты — отрада моего глаза и страсть сердца, ты — вечность моего духа.

Мы едины природой, и в жизни моей — смысл твоего бытия.



АМИН АР-РЕЙХАНИ

Амин ар-Рейхани (1876–1940) – крупный представитель сиро-американской школы. Автор многочисленных стихотворений в прозе, повестей, эссе и очерков. Считается, что его творчество формально близко У.Уитмену. Однако, по мнению большинства специалистов, он следовал традиции арабской классической литературы. В творчестве ар-Рейхани звучат мотивы критики пропитанного ложью и двуличием буржуазного мира, обращение к родной природе, в описании которой слышны пантеистические мотивы.



ДОЧЬ ФАРАОНА

Ты – самая древняя из стран Востока, улыбающихся вечности,
И самая молодая из стран Востока, поднимающихся из праха.
Ты – первая из тех, чьи нивы ласкало солнце,
И первая из тех, кого поцеловала ночь на берегах Нила.
Ты первая играла на вершинах искусств и ремесел
И первая танцевала под пальмами в лунном сиянии.
Ты первая заложила краеугольный камень науки и дала приют
цивилизации
И первая воздвигла храмы для животных и дворцы для смерти.
Ты первая прошептала слово молитвы сердцу мира
И первая зажгла огонь веры во мраке жизни.
Ты первая изваяла прекрасный памятник человеку, запечатлев его
величие и его надежды,
И первая создала из обломков невидимого мир, действительность
которого превосходит странностью его вымыслы.
Ты первая воздвигла статую истине
И жгла благоволия перед алтарем заблуждений.
Ты первая создала храм фантазии,
Столь же вечный и величественный, как и храм истины.
Ты изобрела весы правосудия
И закалила рабов.
Твой скипетр украшен алмазом,
А бич твой испачкан кровью.
Ты первая сказала смерти: «Нет», –
И первая сказала жизни: «Да».
Ты – песня времени, дочь фараона,
Чудо веков, невеста Нила!

Ты – яркий светильник в тени пещеры.
Ты – неугасимый пламень в пространстве.
Ты – дочь символов, тайна которых скрыта в устах бури и в сердце ветра.
В храме любви ты – божество, которому поклоняются боги всех наций.
В храме красоты ты – богиня, неподвластная богине вечности!

Розы твоих щек выросли в долине свежести.
Горы света отдали свою белизну линии, украшающей твой лоб.
Золото твоих волос – из кристаллов зари.
Пурпур твоих уст – из садов вечности.
Твой голос заставляет мечтать пальмы
И рождает в песке страсть к Нилу.
Ты – богиня любви,
Богиня смерти,
Богиня вечности!
Ты – песня времени, дочь фараона,
Чудо веков, невеста Нила!

САМУМ

О вечно сущий бог! Чему не знать конца?
 На винограднике я слышал тихий шорох,
 Но вот подул самум, и полетела лоза.
 Взметнулся к тучам листьев ворох,
 И страшный крик разрезал небеса.

Чему не знать конца?

Недолог век твой, благородный сад.
 Палатам богачей не увидеть потомков.
 Лишь прах останется от каменных громад.
 Цеха и фабрики до времени умолкнут.

Чему не знать конца?

Кто вспомнит про туннель, идущий под рекой?
 Где мчались поезда, там нет следа движенья.
 Красавца-лайнера проглотит зев морской.
 Погибнет флот, грозящий разрушеньем.
 Там, где кипела жизнь, теперь царит покой.

Чему не знать конца?

Оседа в шахтах каменная пыль.
 Безмолвны штолен узкие пролеты.
 Не рвется к небу иглоострый шпиль.
 На куполах тускнеет позолота.

Чему не знать конца?

Где гордый мост, повисший над рекой?
 Сегодня от него торчат одни лишь сваи.
 Где были острова, там ныне гладь морская.
 Опасных рифов след затерян под водой.

Чему не знать конца?

Прочнейшей из платин грозит обвал.
 Былую гавань занесло песками.
 Жизнь замерла, где пролегал канал.
 Порвалась дружба меж материками.

Чему не знать конца?

Побольше скромности, мой гордый небоскреб.
 Не краше твой удел судьбы лачуг безвестных,
 Святых обителей, где всяк душой — холоп,
 Церквей — прибежища священников бесчестных.

Чему не знать конца?

Все рухнет: замок, утопающий в садах,
 И вила богача, и царские чертоги.
 Дремучие леса прорежет нить дороги.
 Не станет влаги в реках и ручьях.

Чему не знать конца?

Изменчивы обычаи и нравы.
 Извечна смена правд и небылиц.
 Теряют силу мощные державы.
 Общин и кланов возраст невелик.

Чему не знать конца?

Самума страшный крик
 Разрезал небеса.

Чему не знать конца?

Все преходяще в этом странном мире.
 Что было, то уйдет,
 И только мысль живет,
 Частицы духа вечен след в эфире.
 Наступит день, когда умолкнут споры,
 Утратит золото свою былую мощь,
 Народ сомкнет ряды, надеждой вспыхнут взоры,
 Страшась возмездия, бежит жестокий вождь,
 Падут устои заа, насилия опоры,
 И землю оросит животворящий дождь.

Для спящей вечности года равны мгновеньям,
 Века — часам. Пускай придет пора,
 И рухнет небо, меж руин вселенной
 Пребудут вечно семена добра,
 Побегти нежности и восходы умиленья.

РЕВОЛЮЦИЯ

День ее – мраком укрыт.
 Ночь ее – светом горит.
 Заходящее солнце всевидящим оком глядит.
 Голос смуты ужасен. В нем слышатся крик,
 Соловьиная трель, шепот пчел, львиный рык.
 Лижет пятки тиранов горящий язык.
 К тяжелой ноше достойный привяк.

Горе тем, кто насильничал, агал и хитрил!
 Миг расплаты настал, Судный день наступил,
 Смертный час для тирана пробил.

Страшен день Революции, хмурый как дым.
 Стать под знамя спешит тот, кто близок, и тот, кто незрим.
 Вторит бою литавр удивительный гимн.
 Сотни лиц загорелись желанием одним.
 Голод пламени неуголим.
 Страх прибавил немало седин.

Берегитесь, насильник, злодей и гордец,
 Гнева ищущих правды, открытых сердец.

Тирании приходит конец.

Сыновья Революции чести верны.
 Незнакомы юнцам беззаботные сны,
 А мужи безаветной отгаки поаны,
 Жены львицами рождены,
 Проповедники стойки, речисты, умны,
 Предводители жаждут войны.

Тирании часы сочтены.

Видишь пламя, тиран, слышишь крик, слышишь гром?
 То огонь канонады, свист пуль, взрывы бомб!
 Берегись и беги! Нетверда твоя власть.
 Кто исполнит приказ твой – убить иль украсть?

Тирании назначено пасть.

Древним Римом урок непохожей преподан.
 Юлий Цезарь, гордыней слепой обуян,
 Воцарился, но пал, изнывая от ран,
 Жертвой гнева свободных римлян.

Вот цена честолюбья, тиран!

И парижский урок для примера хорош.
 Штурм Бастилии, узникам – воля, и что ж,
 Парижане немедя пускают под нож
 Короля и французских вельмож.

В тех примерах себя узнаешь?

И уроки Британии каждый поймет.
 Дал присягу на верность английский народ
 Пивовару, король же отныне не в счет.
 Кто был слаб, тот вознесся над сильным, и вот
 Короля уже ждет эшафот.

Берегись, тиран! Видишь море знамен?
 То победное шествие красных колонн.

* * *

Новый мир начинается новой зарей.
 Ты не видишь огня над фабричной трубой,
 Где в печи – и порфира, и скипетр золотой?
 Там насильник – изгой.
 Там раба ожидает свободы покой,
 Там за честь обездоленных бьется герой.
 Там слабейший воспрял, поменявшись судьбой
 С тем, кто власти не знал над собой.

Берегись, тиран, есть табу и табу.
 Бог придет на помощь рабу.

И проснулся народ, духом вольности пьян.
 От огня ее вспыхнул огромный вулкан.
 Всяк стоящий за правду неистов и рьян.
 У плетей в руках меч свой видит тиран,
 И мучитель мученьям предан.

Берегись, тиран, тех, чья воля крепка.
 Алых стягов победа близка.

СОЛОВЕЙ И ВЕТЕР

В клетке поет соловей,
В долине рыдает ветер.

Деревья роняют листья на цветы, умирающие в полях.
С моря поднимается туман, рождая в сердце горизонта печаль, уносимую ветром,
развеивающим облака.
Вижу тучи над вершиной Саннина, и долина приносит мне эхо их песен.
Вижу листья на крупе ветра, и любовь приносит мне эхо их грез.
Вижу стекла в объятье стужи, и ночь приносит мне эхо их плача, а заря открывает тайну их слез.
Тишь сегодня страшна, как могучий циклон.
Крики веселья и муки слились в одинаковый стон.
Ночь, как могила, нема.
Голосом ада вещает тьма.
Всюду, в долинах и рощах, лесах и полях,
Недвижны природы персты.
Пряха надежда засыпает под сенью своей красоты.

В клетке поет соловей,
В долине рыдает ветер.

Осенью, собравшись у очага,
Духи гор слушают песню времени, доносящуюся из огня.
Время оплакивает сына, приближающегося к гибели,
Оплакивает год, в котором захоронило мечты под грудями листьев своей любви,
И теперь в снегах роет ему могилу.
Поднимись же со мной на вершины этого года,
И увидишь храмы любви и тоски,
Где зима разрушает памятники, воздвигнутые весной.
Голос смерти звучит в лесах и полях,
На лугах и в горах, меж деревьев и скал,
Исторгая из камня аккорды, в которых слились
Звон к обедне и прохот прибой,
Из древа — фрагменты элений
Скорбных, как плач Иеремии и пение свирели Дауда,
Тревожа глубокий покой выросших в землю дев,
Предстоящих в красе их природной.
Тянется вверх сосна, горда и стройна, и ветер ласкает ее верхушку.

Млеет от страсти масличное дерево, горя серебристой кроной, как небо — звездным сиянием в просветах меж туч страшной ночью Судьбы.
Слыша сердечный шепот, нежно колышат ветвями миндаль и сумах.
Кедр звенит сладкострунной кифарой.
Земля разрешается криком,
Сотрясающим горы и доли,
И молкнет.
В тиши, коей внемлют небеса и моря,
Деревья роняют на землю листья своих надежд,
И духи осени убирают ими тело умирающего древа.
Буря несет в неизвестность.
Цель ли сущего — в том, чтоб не быть?

В клетке поет соловей,
В долине рыдает ветер.

Мрак одея пеленою дали горизонта.
С моря в сторону гор потянулись черные облака,
Вечная ключьями пены гребни бушующих волн.
Хляби небес разверзались над бушующим морем,
Над горами, откуда ветер сдувает снега,
Над долинами, в коих с деревьев слетает листва,
Над покрытыми пылью просторами чахлых полей,
Над пустыми церквями, где ветер свистит из щелей,
Над пещерами — логовом диких зверей,
Над кладбищами, коим не в тягость ни ночь, ни буран,
Над реками, куда глыбы скал и обломки деревьев несет ураган.
Все, что есть на земле,
От вершин до стремнин,
Нив и гор, полных жизни,
Морей и долин
Под ночным небосводом,
Что тучами скрыт,
В чрево вечности путь свой стремится.
Цель сущего — в том, чтоб не быть?

В клетке поет соловей,
В долине рыдает ветер.

Осень проходит, оставляя за собой густые тени.
Мы любимся закатом ее солнца

И упиваемся остатками ее света.
 Тени тают от поцелуев солнца, клонящегося к закату.
 Волшебные нити его лучей
 Сквозь плотный морской туман
 Протянулись к горным хижинам,
 Чьи окна вспыхнули удивительными блесками алмазов.
 Куда до них алмазам князей Индии и сокровищниц Офиро!
 Осеннее солнце заходит в ореоле прекраснейших форм и расцветок.
 Как описать их? Слов не хватит поэтам,
 Красок — художникам. К делу приступишь едва,
 Тотчас кругом идет голова.
 Волны света на челе осени
 Подобны росе апреля на цветке миами.
 Росу выпивает солнце, свет поглощает мгла.

В клетке поет соловей,
 В долине рыдает ветер.

Тучи простерлись над долинами и полями.
 Где островами, где глыбами скал предстали огни в тумане.
 Света перстами на глади морской начертан дивный орнамент.
 Небо при виде знаменья сего оделось цветом багряным.
 Кажется, феи ведут разговор на лужайках зеленых
 Возле озер, красных от крови влюбленных.
 Вкрут огнедышащих гор
 Пляшут духи влюбленных.

С арены борьбы душа переносится в мир красоты и любви.
 Видишь красивый дворец на руинах горящего града?
 Окрест — гладь золотистых озер,
 Над коими, точно призраки,
 Мечутся клубы прозрачного тумана!
 Вся амбра, что есть во вселенной,
 И весь шафран, выросший в ее полях,
 Растворены в этих водах, где плещутся феи света,
 Окружая богиню планет.
 Видишь море цвета граната,
 С капельками сока ромашки на гребнях бушующих волн!
 Близ берега — город, парящий в пространстве,
 Окрест — голубые ручьи и высокие скалы,

И зеленые нивы,
 И черно-белые горы,
 А выше — алошь одинокой звезды.
 Небесный город
 В небесных просторах,
 Откуда солнце черпает свет,
 Обращающийся, как в призме,
 Буйством фигур и красок!

В клетке поет соловей,
 В долине ликует ветер.

И день, этот великий титан,
 Умирает прекрасной смертью,
 Смертью богов римлян
 В великолепнейшей короне, украшенной драгоценными камнями,
 В венке из роскошных цветов — дара земли, помнящей щедрость апреля,
 Ее господину — времени.
 Что за прелестные камни в его короне!
 Что за красочный хаос вокруг его головы!
 Зелень изумруда, алошь рубина, блеск алмаза, небесная синь бирюзы
 Блещут и вновь предстают в неземных сочетаниях,
 Вибрациях, метаморфозах.
 В движениях, быстрых как молния,
 Схожих с полетом мечты.

В клетке хрипит соловей,
 В долине спадает ветер.

Нахмурило чело Саннин, и яркие цвета обратились пятнами мрака.
 Трав аромат оставил пространство, испуган тенью грозных облаков.
 Пропали светящиеся города,
 Исчезли танцующие феи.
 Опустились на дно серебристые острова,
 Налетом свинца покрылась поверхность золотистых озер.
 Смерть наполнила кубок той вредоносной влагой,
 И день почил в водяном склепе,
 Укрыт саваном, сотканном перстами ночи из огней неба.

В клетке умолк соловей,
 В долине затих ветер.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В XXI веке человечество, вступившее на грань общего цивилизационного кризиса, вновь поворачивается к Востоку в поисках непреходящих и спасительных идейных и нравственных ориентиров.

Духовные лидеры стран Востока, его ученые, поэты, художники и философы на протяжении тысячелетий неперестанно обогащают живое древо человеческой цивилизации. Мудрая красота духовных традиций Востока, его спокойная созерцательность из века в век стоически противостоит всплескам безумия, кровавому разгулу насилия в бесплодном споре за господство в мире, за власть одних людей над другими. В мире сиюминутных устремлений и эфемерных желаний страны Востока — от Японии до Египта и Геркулесовых столбов Магриба, стран арабской Атлантики — хранят верность единой и вечной Истине восходящего Солнца, ежедневно и неизменно поднимающегося в мир людей из мрака небытия.

Таков Левант с его знаменитой грядой Ливанских Гор, всегда представлявший твердыней Духа, возвышенный ареал поклонения Прекрасному, высшей красоте мироздания. Левантийские художники и поэты тысячелетиями впитывали эстетические традиции и идеалы этого региона. И сегодня в их творческих поисках мы узнаем изысканный узор арабески и изящество движений арабского танца, красоту архитектурных линий восточных дворцов и храмов и утонченные изгибы букв арабского почерка.

В этом духовном контексте предстает перед нами и творчество двух крупнейших представителей арабской литературы XX столетия ливанцев Амина ар-Рейхани и Джебрана Халиля Джебрана. До сегодняшнего дня эти имена еще мало знакомы русским читателям. Между тем их вклад в мировую литературный процесс столь значителен, что позволяет включить их имена в число не только классиков арабской современной, но и всей мировой литературы. И дело не только в том, что перу А. ар-Рейхани и Дж. Х. Джебрана принадлежат первые арабские повести в европейском духе «Вне стен гарема» (1907 г.) и «Сломанные крылья» (1912 г.), или в новаторском использовании ими в арабской литературе поэтической формы стихотворений в прозе (*аш-шир аль-мансур*), отмеченных духовно-эстетическим влиянием русского гения Ивана Тургенева. Уникальный феномен созданной в 1920-е годы в США «Ассоциации пера» — так называемой «Сиро-американской литературной школы», лидером которой стал Джебран Халиль Джебран, — это поразительно гармоничный синтез западноевропейских, американских и восточных, арабских культурно-эстетических традиций. Этот творческий союз объединил уехавших в начале XX века в Америку ливанских и сирийских писателей, среди которых такие талантливые мастера слова, как Михаил Нуайем, Несиб Арида, Рашид Айюб и другие. Прекрасно знавшие западную культуру, а также — многие из них как православные христиане Востока — русские духовно-эстетические традиции, они сочетали в своем творчестве традиции классического арабского стихо-

сложения аль-Мутанабби с поэтикой «Альгамбры» Вашингтона Ирвинга, философские искания Льва Толстого и Ибн аль-Араби с мистическими откровениями суфиев.

Представители Сиро-американской литературной школы, к которой духовными и дружескими связями был близок и Амин ар-Рейхани, писали и издавали свои произведения на двух языках — арабском и английском. Так они стремились расширить круг своих читателей, передать свои мысли и чувства как можно большему числу людей на земле.

Вернувшись на родину в Ливан в 1930-х годах, они стали признанными классиками национальной литературы, на прекрасных произведениях которых учились многие поколения современных арабских писателей и поэтов. «Философом из Фурейки» почтительно называли прожившего последние годы своей жизни в родных местах в живописной ливанской долине Амина ар-Рейхани, который признавался: «Во мне живут Сервантес и Маарри. Они хранят во мне единство величия духа и высший образец подлинной человечности».

Только кончина в 1989 году помешала вступившему в 99-й год жизни Михаилу Нуайему получить Нобелевскую премию в области литературы, на которую он был номинирован вместе с египетским романистом Нагибом Махфузом. Ко всему миру обращался и Джебран Халиль Джебран в своей знаменитой книге «Пророк», написанной, как и многие другие его произведения, вначале по-английски. Она разошлась по всем странам планеты миллионными тиражами, став для некоторых народов Востока священной книгой.

В то же время, несмотря на их удивительную красоту мысли и формы, произведения Рейхани и Джебрана все еще остаются малодоступными нашим русским читателям. Свой достойный облик на русском языке они обрели лишь в высокохудожественных переводах талантливого отечественного востоковеда Владимира Волосатова, которые может теперь оценить по достоинству и читатель этой книги. Произведения Джебрана Халиля Джебрана в переводах В.А. Волосатова издавались на русском языке в СССР в 1960–70-х годах общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Все эти книги разошлись мгновенно и давно уже стали раритетными. Переводы же на русский язык стихотворений в прозе Амина ар-Рейхани печатаются в данном издании впервые. Уникальность предлагаемого читателям издательского проекта также в том, что отобранные тексты впервые предстают в двуязычном русско-арабском варианте. Автор и издатель убеждены, что подобное представление достойно продолжит лучшие традиции самих этих классиков арабской литературы, обращавшихся ко всему человечеству в высоком стремлении способствовать духовному озарению нашего тусклого мира чистым светом Истины. Надеемся, что эти подлинние шедевры не только арабской, но и мировой литературы, которые держит сейчас в своих руках наш читатель, подарят ему непреходящую радость познанию Красоты и надежду на ее бессмертие.

Мария Николаева

Ожерелье голубки



ДИЛЯРА СУЛЕЙМАНОВА

*Я так мало смысло в туманах –
Не Лондон.*

Д.Сулейманова

Лондон түгел.
Монда көне-төне
жил дә яңгыр – яфрак аралаш.
Түгелергә торган
Казан һавасында
дымсу агач исе тарала.

Бер-беренә
талгын бер ымсыну,
суындан өркеп көнләү генә,
күлләвектә
бер күләгә калган
сырганаклы сары күлмәгеннән.

Сүрән күнел
хатасурәтендә
көннең көне эссе күмер әле –
томаннарға күнекмәгәннәрнең
хәйләсе дә
үтәкүрәнмәле.

*И никто меня не узнает —
Багровую на зеленом.*

Д.Сүлейманова

Тәрәзәңне төнгә ачык калдыр –
көзгә яңгыр қаңгырып йөрмәсен,
караңгыдан йолып, сиңа алып килсен
төсө качкан яфрак өөрмәсен.

Ах, ул яңгыр, язгы зыңга чаклы
калыр, ахры, сеңеп челтәрәң.
Син белмисең әле, вакыт үзе
сәгатъләрне жиргә чөлпәрәмә:

–Тукта мизгел!
Урта гасырда – көз,
дастаннарда – сөю өлгесе.
Сарут сарган Тристан каберенә
канәферләр тезә Гөлдәрсен.

Урта гасырда – көз. Берөзлексез
яфрак оча нәсел агачыннан.
Чынга алсаң, Йосыф китабының
без язасы бите ачылган.

Челтәр – ятымә бүген – яңгыр сөзә,
жепселенә кадәр манма су.
Шул ятымәдә яфрак булып
калыр идем – танымассың...

*Инәкәем, мин алдарак китсәм...
Р.Гарипов*

Ә бер дүшәмбедә
май башланды –
ахшам алды иде:
нидер эчтән өзелде дә
тезген-түшәннәрне
көзгә яңырларга тикле
читкә этте,
жете яшел тәрәзәләр,
сәдәпләре төшкән күлмәк төсле,
гел жилбәгә.
«Әгәр»ләрсез генә, әйдә,
Йөрәктаудан сөрән-дөгъва:
Яхисе килә!
Иләсләнеп йөри,
кыяр-кыймас булып,
болыт,
һавадан яшь исе килә?!
Фаразларга, фарызларга каршы
әллә нидә бер
яхисе килә!
Һәр йотымын тоеп кына өлгер -
агач кашык мөлдәрәмә тулы.
Намазлыкка – каеп чиккән сөлге,
сөлгеләрдә – әни кулы.
Безгә, әни, шундый зәхмәт тигән,
үтмәсен дип, син дә келәү келә -
тезгеннәрне өзәр исәрлек бу, әни:
май башланды исе,
мең яхисе килә.

Бозлы тәрәзәдә бармак эе -
бармак эе кадәр төнгә Казан
өнсез калган. Дөшми.
Миләшкә бал төшәр кышта
тукталыштан тукталышка
тоныклана гына...
ә кайдадыр,
Володарский урамында
ел да бер үк кичтә
эчтән нидер көйли-көйли
кунак әби
көйсез оныгына оек бәйли...
Елга порты тирәсендә
исерердәй булып кар исенә
елның елы адымнарын саный
карт көймәче...
Оныткандай кире кайту барын,
мәчет каршындагы йорттан,
ир уртасы агай чыгып килә,
ахыры ел да бер: «Тукта!»
алтынчы кат балконинынан...
Кына гөлә ватык савытында
төнгә керә...
Өрәңгеләр чатнап торган кышта
тукталыштан тукталышка
тоныклана бара шөһәр...
тының белән жылытмасаң әгәр.



ЯБЛОЧНЫЙ ВАХХАБИТ

Отрывок из книги «Другой МГИМО»

Ренат Беккин

Если кто-то опрометчиво вообразил, что единственным результатом почти двухлетнего существования Исламского клуба были несколько сотен рублей, честно заработанных на продаже пороховских коранов, то этот человек ничего не понимает в фандрайзинге.

Исламский клуб был единственным объединением в структуре разраставшегося СЦПЭИ (Студенческого центра политических и экономических исследований), которое издавало научные работы. Меньше чем за полтора года из печати вышли два сборника «Ислам: политика, экономика, право, культура». Это было не собрание тезисов или студенческих курсовиков. Большинство представленных в сборнике работ вполне заслуживали того, чтобы быть опубликованными в научных журналах. До сих пор, спустя почти восемь лет, мне пишут на сайт люди, интересующиеся, где можно приобрести сборники Исламского клуба. Мы бы с Колей, может быть, и рады были продать, только давно уже нечего.

Научным редактором и руководителем клуба Нозль Карибович по согласованию с нами назначил покойного Барваса — Бориса Васильевича Романова, высокого пожилого джентльмена эпохи семидесятых в очках в толстой оправе, с крепкой, вполне могущей послужить орудием самообороны тростью в руках. Помимо Барваса, Борис Васильевич имел второго прозвище: Касым. Касымом звали одного из разбойников в сказке об Али-Бабе, которую мы изучали на уроках арабского во втором, кажется, курсе.

Борис Васильевич, конечно же, не был разбойником, пусть даже и благородным. Про таких Пушкин написал: «Он слишком был смешон для ремесла такого». Но один полуоткрытый глаз и устрашающего вида палка в руках говорили о том, что шутки с этим господином нежелательны. В институте за мной закрепилась слава «давателя прозвищ»: независимо от того, удачно оно было или нет, придуманное мною «погомяло» надолго закреплялось за его обладателем.

Даже самые незатейливые прозвища оставались за их обладателями на долгие годы. Помнится, еще в школе мне не понравилось имя нашего физкультурника — Евгений Павлович — и я придумал ему короткое прозвище, состоявшее всего из трех всем известных букв. Дело в том, что Пальч всегда ходил в варенках, четко выделявших силуэт его детородного органа. Это и навело мне, прямиодушному третьекласснику, соответствующие ассоциации. Вот так вроде бы неплохой мужик (а Пальч был добрый и почем зря зимой нас на лыжах не тонял) получил такое обидное прозвище, надолго ставшее его вторым именем. Мы даже комиксы про него нарисовали, где Евгений Пальч выступал в роли гангстера. В финале менты отсекали Пальчу член. Жаль, не сохранились эти комиксы.

Борису Васильевичу в этом смысле повезло больше, хотя он, наверное, так до конца дней и не узнал о своем втором имени. Но даже если бы и узнал, сомневался, что обиделся.

Барвас, как и вся кафедра, втайне гордился, что при кафедре существует клуб. Любкой мало-мальски серьезный ученый мечтает о достойных учениках. Борис Васильевич не был здесь исключением. А учеников, как известно, хочешь не хочешь, а надо выводить в люди. Иначе они найдут себе другого учителя. Даже если это такие преданные и бескорыстные существа, как мы с Колей.

Однажды Борис Васильевич подозвал нас с Лукашиным после пары и тайно сообщил:

— Завтра во стоюк-то состоится учредительное заседание Общества дружбы с Суданом: будет много интересных персон. В том числе Евгений Максимович Примаков. Я вас представляю.

К слову сказать, Барвас был первым, но не единственным профессором в моей жизни, который упрямо грозился представить меня Евгению Максимовичу. Но историческое знакомство по сей день так и не состоялось, о чем я, впрочем, не особенно сокрушаюсь.

В назначенный час мы явились в посольство Судана. Там было уже полно народу: смуглые суданцы все как один с большими животиками, наши — бывшие советские чиновники и профессора, в серых костюмах. Никакого Примакова не было. Вместо него присутствовали режиссер Кира Муратова и актриса Любовь Соколова, избранные, как и мы с Колей, то ли в шутку, то ли всерьез в правление реорганизованного Общества дружбы с Суданом. Зато Бориса Васильевича почему-то никуда не избрали.

Опершись на палку, он грустно сидел у края стола и смотрел в одну точку на полу. После томительного заседания и голосования по избранным членам правления объявили банкет. Быстро наполнив тартинками пустой студенческий желудок, Коля переключился на общение с Соколовой. Та рассказывала ему какие-то анекдоты, Коля ржал и обнимал ее. Я пытался общаться с суданцами на арабском, но моих знаний явно не хватало, и я от этого погрузился не меньше, чем Барвас. Расстроившись, я и не заметил, как тот тихо исчез в самый разгар банкета.

Через несколько дней я встретил Бориса Васильевича в институте. Он как ни в чем не бывало медленно продвигался по коридору, не замечая окружающих.

— Что же Вы тогда ушли? — спросил я его.

— Занемог малость. Как Вам все это дело?

— Да так, скучно немного было.

— Это точно.

— Борис Васильевич, а Вы говорили, что там Примаков будет.

— Я, честно говоря, ожидал от этой затеи другого. Но вы с Колей ходите туда. Вам все равно полезно будет.

Мы и вправду сходили еще разок на заседание Общества, но на этот раз все было гораздо скучнее. Руководители клуба отчитывались о своей поездке в Судан.

— А почему нас не взяли? А куда Соколовой дела? — негодовал Коля...

Неудачный опыт участия в правлении Общества дружбы с Суданом не испортил нашей дружбы с Барвасом. Ему по-прежнему нужны были ученики, дополнительная нагрузка за работу с молодежью и просто душевная радость от общения с такими непосредственными и наивными ребятами, какими были мы с Колей в конце 1990-х.

Истинное, что вызывало смущение у Барваса и сутулого бдительного старика Нозля Карибовича Усманова — название клуба: Исламский.

– Вы же наукой занимаетесь, вот и называйтесь, например, Клубом исламских исследований, – ненавязчиво рекомендовала нам Нозьл Карибович.

Но я не хотел уступать – не столько по идеологическим причинам, сколько по эстетическим. Разве можно сравнить подобное густую энергию название «Исламский клуб» с бесцветным «Клубом исламских исследований»?

В одном был прав Нозьл Карибович: интересы клуба очень скоро вышли за рамки научной деятельности. В сентябре 1999 г. приятель по общаге – Лева Ульянов, писавший еще в студенческие годы экономические программы партии «Яблоко», – познокавил меня с Андреем Шаромовым. В то время Андрей был лидером молодежного «Яблока» и по совместительству главным редактором печатного органа – газеты «Цвет Яблока». Я предложил Андрею издавать спецвыпуски газеты, адресованные мусульманам. На носу были выборы в Госдуму, и лишний электорат «Яблоку» бы не помешал. А мне не повредили бы лишние деньги и возможность редактировать газету – то, чего мне в свое время так и не дали сделать в литературном клубе «Держание» при Ленинградском дворце пионеров и школьников. Покойная руководительница кружка журналистики Ирина Михайловна Тарарина говорила мне: «Твоя газета будет интересна взрослым, а дети ее читать не будут».

У меня на тот момент была уйма свободного времени, так как на свою беду я выбрал местом своей преддипломной практики Министерство иностранных дел. Вернее, не то, чтобы выбрал: просто по лениности своей я не искал других вариантов, а когда пришло время определяться с практикой, было уже поздно. И мне ничего не оставалось, как идти в МИД. После кризиса 1998-го в министерство стали возвращаться бывшие дипломаты, потерпевшие фиаско в бизнесе. Впрочем, ненадолго. В 1999 году, когда я пришел в министерство на практику, в центральном аппарате было еще немало тех, кого волны молодого российского капитализма выгнали на спокойный чиновничий берег. В основном это были мужики за сорок, отчаянно бросившиеся в начале 1990-х зарабатывать деньги на прокорм своей семьи, но не добившиеся в этом большого успеха.

Что касается молодежи, то работа в МИДЕ считалась в 1999 году у большинства выпускников МГИМО отстоем. Не сложно было предугадать, что выберет выпускник «одного из самых престижных ВУЗов России»: место бюрократа с зарплатой около 40 долларов или работу юриста в западной компании с 500 долларами в период испытательного срока. В таком случае, кто же тогда шел в МИД?

Исключение из общего правила составляли идеинные: те, кто с детства мечтал стать дипломатом и никем другим, или те, кого к этому побуждали семейные традиции. Представители последней категории учились преимущественно на факультете Международных отношений (сокращенно: МО) – основном поставщике кадров для МИДА. Это в основном были студенты, чьи отцы, а иногда даже деды были дипломатами. Нередко дети изучали тот же язык, что и их родители. После окончания института они благополучно переходили под их начальство в один из многочисленных МИДовских отделов. Еще лучше, если твой отец – посол. Почему бы не поехать под начало близкого родственника за рубеж?

Есть такие студенты, которые только появились на свет, а уже знали наперед, куда они будут поступать и где потом работать. И все у них наперед просчитано, и если где на жизненном пути случается у них сечка, они теряются и могут даже погибнуть от отчаяния. Не ошибись, если скажу, что большинство студентов МГИМО принадлежали к числу лиц, наметивших свой жизненный путь едва ли не с детского возраста. Да и

как не знать, кем ты будешь, когда твой папа или дедушка – дипломат. Преемственность в такой консервативной структуре, как МИА, всячески приветствовалась.

Загранкомандировки были главным козырем в руках МИДа в деле завоевания сердец будущих дипломатов. Для того чтобы заинтересовать молодых сотрудников, им предлагались зарубежные длительные командировки буквально сразу после поступления на работу. В отличие от вышеупомянутой зарплаты в центральном аппарате, работавшие в посольствах и консульствах дипломаты низших рангов получали от 1500 до 2000 долларов в месяц, что было в среднем гораздо выше, чем зарплата начинающего юриста, менеджера, пиарщика и др.

Однако главное не командировка сама по себе, а та страна, куда ты направляешься. В среднем контракт заключался на два года с продлением на год. Большой срок, чтобы позволить себе ехать куда попаало.

Нам как арабистам светили арабские страны. С одной стороны, есть из чего выбирать: хочешь накопить денег – поезжай в бедную страну типа Йемена или Судана, мечтаешь о чем-то по уровню жизни поближе к Западу – выбирай Эмираты, Ливан или что-то в этом роде. Один парень старше нас на пару курсов долго радовался, что едет в Судан: мол, там все дешево, можно будет красиво жить и при этом накопить на квартиру в Москве. Но вскоре после приезда в Хартум он заболел редкой формой малярии, от которой не делали прививок в Москве, и все, что он успел к тому времени заработать, ушло на лечение.

Я не большой любитель жаркого климата, и потому к работе в арабских странах относился без энтузиазма. После же истории с Суданом не было той силы, которая заставляла бы меня уехать в какую-либо из стран изучаемого языка. В моем семействе дипломатом никто не стал, и потому некому было уговаривать меня служить в МИДЕ или, напротив, отговаривать от этого занятия. Если кто и отговаривал – так это некоторые старшекурсники, смеявшиеся над МИДовскими зарплатами и утверждавшими, что работать на Смоленскую площадь идут одни неудачники. Служба в МИДЕ, как и любая другая работа на государство, не вдохновляла меня. Неважно, сколько за это платили. А за почти бесплатно – тем более. Легко понять мое состояние, когда я вынужден был проводить полный рабочий день в министерстве.

МИД – это гигантская лотерея. Персональный фактор играет здесь ключевую роль. Практически все зависит от того, кто твой начальник – неважно, в центральном аппарате ты работаешь или в посольстве. Если твой шеф не сволочь, самодур или работоголик – можно как-то прожить в ожидании ближайшей командировки. Если же все наоборот – то остается либо терпеть, пока твой начальник не пойдет на повышение или не уедет в загранкомандировку, либо самому уходить с работы. Переход в другие отделы не приветствуется, к тому же ты ограничен регионом или страной, язык которой стоит у тебя в дипломе – по крайней мере, на ранних этапах дипломатической карьеры. Те, кто хочет изменить свою судьбу, начинают учить в МИДЕ другие языки – благо, это удовольствие за счет заведения и, как правило, приветствуется руководством.

Когда я пришел в первый день сентября 1999 года в высотное здание на Смоленской площади, все поначалу складывалось в мою пользу. После того, как все практиканты-арабисты, собранные в одном из отделов Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, нас поприветствовали, пожелали удачи и, не теряя даром времени, стали раздавать «слонов». Молодцова – в отделе Магриба, Елосева и Сальников – в Заливном, Лукашин – в отделе Палестины, Бескин и Смирнов – в отделе Ирака...

Отдел Ирака? Не самый худший вариант. Тогда, за пять лет до ужасной гибели наших дипломатов, Ирак был очагом спокойствия и лакомым кусочком для многих арабистов в МИДе. Практика в отделе Ирака, конечно, не давала стопроцентной гарантии последующей командировки в Багдад, но шансы попасть туда увеличивала.

– Поезд тебе, – шепчет мне устроившийся за левым плечом загоревший на чужой даче Лукашин. Не иначе, как слезид, сунит сын! Не успели раздать всех «слонов», как в отделе зашел усатый мужик в синем костюме и очках в толстой оправе и, попросив слова, спросил по-своикий так, как бы невзначай: «Ребята, кто хочет сделать доброе дело?».

Тишина. Все вжали головы в плечи и опустили глаза в пол, подозревая что-то нехорошее.

– Наверное, требуется грубая физическая сила: перетаскивать столы из одного кабинета в другой, – подумал я и поднялся с места. – Я!

– Отлично, – обрадовался усатый, – тогда пойдемте со мной. Оставайтесь же! Удальной работы.

– Тут наши коллеги из З ДСНГ ко мне обратились. Им позрел человек нужен, – пояснил по дороге усатый. – Зашиваются совсем.

Зашиваются? Я насторожился.

– Отличные люди. Вам там понравится, – почувствовав мое смятение, добавил усатый.

Отступать было поздно. Да и некогда. Меня с подкашивавшимися ногами привели на третий этаж. Теперь вместо перспективного отдела Ирака мне предстояло вникать в проблемы российско-киргизских отношений.

Когда я увидел начальника отдела Киргизии, в котором мне предстояло практиковаться, я обомлел. Передо мной был Марк Бернес собственной персоной, правда, не из «Двух бойцов», а из «Жени, Женечки и Катюши», в последние годы жизни. Это меня несколько успокоило. Я тогда обожаю песни в исполнении Бернеса, пару лет назад с трудом достал плакат с ним, а тут, можно сказать, свой под боком: люблюсь – не хожу...

Фамилия начальника была Швец.

– Очень легко запомнить, – улыбнулся он мне характерной бернесовской улыбкой при знакомстве, – первая буква как «Шурик», последняя – как «цаняля»: Швец.

– Не все так плохо, – подумал я. – Даже шутить пытаются. Я не знал тогда, что это единственная его шутка, которую он каждый раз повторял при знакомстве.

Очень скоро я убедился, что мой начальник имел лишь внешнее сходство с любимым артистом. Это был занудный работоголик, которого дома ждала пожилая жена и старший кот Марксиз. Домой ему, видимо, не очень хотелось идти, и он предпочитал славно поработать. Но не один, а за компанию со всем отделом: вторым секретарем, лужавым модаванином Спринчаном и пребывавшим постоянно в печали Игорем Леонидовичем, чей ранг я не припомню. Если срочной работы не было, Швец придумывал ее: через пару месяцев намечается встреча в верхах, надо бы нам подготовить аналитическую справку. Или: почему бы нам не систематизировать документы по проблемам русского языка в Киргизии?

Когда я по неопытности начал разговор о том, что мне каждый день нужно посещать уроки китайского в институте, Швец чуть не задохнулся от злости. Пришлось срочно отказываться от этой затеи.

Каждый из сотрудников отдела Киргизии по-своему боролся с эксплуатацией: Спринчан постоянно шутил, удачно и не очень, Игорь Леонидович тихо спивался, а я за-

нимался в рабочее время преимущественно посторонними делами – писал письма по Интернету, готовил к печати сборник Исламского клуба, флиртовал с секретаршами и трепался с Колей, который то и дело бегал ко мне наверх, чтобы как-то занять свободное время. Про отдел Ирака я вообще не говорю: мой соругник Андрей Смирнов являлся там всего раза три в неделю.

Единственной настоящей отдушиной в МИДе для меня были сытные и недорогие обеды в большой столовой на первом этаже. Но и здесь мой начальник не давал мне покоя. Как-то раз мы с Колей сидели в столовке и весело болтали о том, что происходит в наших отделах. Я не сразу заметил, как за одним из соседних столиков устроился Швец. Пока мы болтали, он успел пообедать и, проходя с подносом мимо нас, как бы невзначай заметил: «Что же это Вы, Ренат Ирикович, раньше меня ушли обедать, я уже поел, а Вы все еще тут сидите». Сказал – как ударила и ушел.

После таких слов аппетит у меня не только не прошел, но напротив только усилился, и я пошел заказать себе еще одну порцию. Когда спустя полчаса я вернулся в отдел, Швец посмотрел на меня с ненавистью, на которую только способен дипломат, вынужденный всю жизнь скрывать свои эмоции.

Со временем я стал получать удовольствие от того, что знал Швеца. Однажды мне наскучило заниматься инвентаризацией правовой базы с Киргизией и я набрал по телефону номер одной знакомой.

– Привет, Наташа. Да, я.. С практикой. Какие планы на вечер?.. Думаю, часов в шесть вечера... На Смоенской у Макдоналдса... Спасибо. Как ты?.. Я несколько дней назад приехал... Отдохнул отлично... Грибов мало. Но черника есть...

Неизвестно, сколько бы я еще так болтал, если бы вдруг случайно не посмотрела на сидевшего напротив меня Швеца. От Бернеса не осталось и следа. На меня глядела огромная, красная от гнева физиономия с маленькими, близко посаженными свинными глазками (откуда я поначалу увидел в них бернесовский прищур?).

Я положил трубку.

– Ренат Ирикович, – произнес, прокашлявшись, Швец. – Мы, знаете ли, тут Вас не отдыхать звали. Здесь РАБОТАЮТ. И я от Вас жду того же...

С тех пор я старался разговаривать по телефону в отсутствие начальства. В общаге у меня тогда телефона не было, а отвлекать от бумаг, писем, аналитических справок ой как хотелось. Больше всего меня почему-то раздражало изготовление «рубашек» для документов.

Делается «рубашка» очень просто: берется лист формата А5, аккуратно складывается пополам и превращается в папку для бумаг, чтобы те не мялись и не пачкались. После двадцатой изготовленной мною «рубашки» я пожалел, что не курю. Уметь изготовлять «рубашки» должен каждый уважающий себя дипломат – равно, как знать о том, что скрепка на документе должна быть прикреплена коротким концом спереди. В свое время я дого смеялся над этим правилом, но автоматизм сделал свое дело, и до сих пор я прикрепляю скрепку нужным концом. 1:0 – в пользу МИДа!

Однако в других вопросах бюрократической машине так и не удалось победить меня. Как только наступало шесть вечера, я вставал и вежливо прощался с коллективом. Первое время Швец таранил на меня глаза, не в силах произнести ни слова от такой наглости, но постепенно свылся с моими ухидами в шесть, как с неизбежным злом, и лишь угрюмо кивал мне во след. Спринчан и Игорь Леонидович негласно поддерживали меня.

В таких условиях утверждение меня в качестве редактора спецвыпуска «Цвета Яблока» выглядело спасением от интеллектуальной гибели. Меня давно уже знали в «Цвете» как автора. Известность мне принес материал «Ислам и Яблоко» — об идеальном президенте России с точки зрения ислама. Я сравнивал тогдашних потенциальных кандидатов в президенты — выходило, что Явлинский — самый мусульманский из них:

«Ни один мусульманин никогда не примет властителя, который не может «пить с умом, пить с разбором, умеренно пить», а делает это без ума, разбора и меры. Прецеденты, увя, есть. Равно как неприемлем и тот, у которого зов плоти заглушает зов разума: здесь тоже немало живых иллюстраций — за океаном. По исламским канонам, употребление спиртного и прелюбодеяние относятся к преступлениям категории «хада», то есть посягающим на интересы всей общины. Как нам известно из источников, близких к лидеру партии, но пожелавших остаться неназванными, Григорий Алексеевич не обременен изаишной тягой к «вахховой влаге» и «развязыванию пояса любви», как сказали бы классики».

Явлинский был наиболее образованным из тогдашних кандидатов в президенты. А знания, как известно, высоко ценятся в исламе. Я напоминала читателю, что именно «Яблоко» жестко и последовательно выступало против войны в Чечне, войны против мусульман — граждан России.

Мои идеологическим куратором от «Яблока» назначили Азамата Романовича Джендубаева. Он как этнический мусульманин больше других яблочников понимал в исламе и потому был призван просматривать материалы для исламского спецвыпуска на предмет их соответствия идеологии партии. Справедливости ради, скажу, что Азамат Романович был добрейший цензор и своим безоговорочным правом отметить недопустимое воспользовался лишь дважды.

Первый раз — когда я подсунул ему написанную мною под псевдонимом заметку о необходимости создания в России мусульманской партии. Прочитав заметку, Азамат Романович провел ладонью по лбу.

— Это, к сожалению, не годится... Ну, посудите сами, партийная газета «Яблока», работающая с мусульманским электоратом, призывает к созданию собственного конкурента. Над нами все смеяться будут.

Пришлось согласиться.

Во второй раз Джендубаев отверг стихи моего кореша по общаге Лехи Никулина.

— Мы, конечно, — молодежная газета, — вздохнув начал Джендубаев, — но не можем позволить себе пропагандировать наркотики.

— Какие наркотики?! — перепугалась я.

— Ну, как же? Вот тут у Вашего друга... как его... Никулина... написано: «И нужен морфий, чтоб сбавить скорость».

— А-а, это стихотворение про морса? — странно: я помнил стихотворение Никулина наизусть, но даже не задумался о том, что оно содержит призыв употреблять наркотики.

— Ну и потом, — продолжал Азамат Романович, — это стихотворение посвящено Вам. — А это совсем, знаете ли, уже ни в какие рамки. Вы же все-таки редактор номера.

Я снова улыбнулся и согласился с Джендубаевым. Позднее присмотревшись к Никулину, я лишний раз убедился, что текст зачастую может больше сказать об авторе, чем многолетнее общение.

Но и на старуху бывает проруха. Усыпленная наркотическими стихами Никулина бдительность Азамата Романовича позволила ему пропустить один материал, без всякого злого умысла написанный автором этих строк под одним из многочисленных, сочиненных на скорую руку псевдонимов. Во втором номере спецвыпуска «Цвета Яблока» для мусульман был опубликован материал «Неадекватная ваххабиту в Москве». Это было интервью с директором печально известного издательства «Бадар» Нажмудином Нажмудиновым, открыто заявлявшим о том, что он — ваххабит. Интервью заканчивалось следующими словами:

«Сергей Батурин: Нажмудин, наверное, трудно быть ваххабитом в наше неспокойное время, да еще в Москве?

Нажмудин Нажмудинов: Трудно даже не тогда, когда тебя не понимают, — гораздо труднее, когда тебя не хотят слушать!»

Нажмудин действительно был первым живым ваххабитом, которого мне довелось встретить в жизни. Имел я за плечами филолог МГУ, он свободно беседовал на гуманитарные темы. После общения с таким человеком, обликом напоминающего Хаттаба, не возникает желание писать нечто подобное хлебниковским «Беседам с варваром». Испытывая слабость к интеллектуалам, которых по пальцам можно сосчитать среди мусульман России, я не мог не почувствовать расположения к этому бородачу. Sancta simplicitas!

Однако не все разделяла мой наивный восторг и испытывал столь же восторженные чувства к представителям этого течения в исламе. Все-таки прошло меньше, чем полгода с момента вторжения ваххабитов в Дагестан.

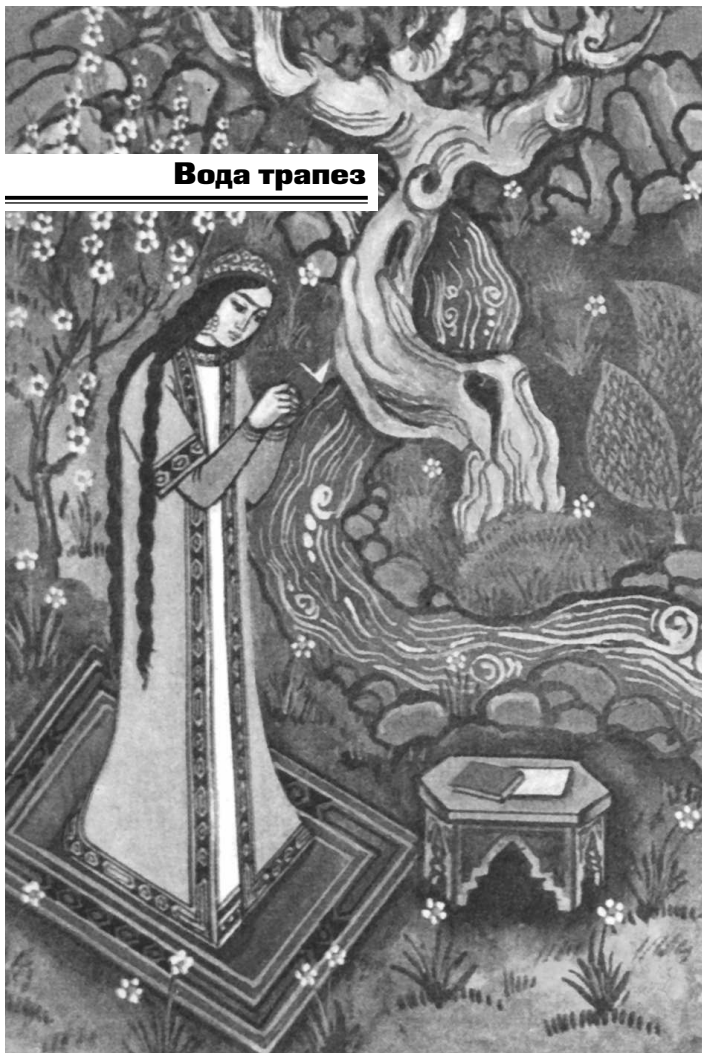
После рассылки второго мусульманского спецвыпуска по регионам в газету полетели письма от бдительных мулл и имамов: «Что за ваххабиты засели у вас в редакции!», «Да знаете ли вы...», «Мы тут агитируем мусульман голосовать за «Яблоко», а вы нам такую свинью с вашими ваххабитами подкалываете».

Когда Шаромов предъявил мне эти полные отчаяния письма, я только глупо ухмыльнулся: извини, мужик. На дворе была весна 2000 года. Выборы закончились, и издание спецвыпуска для мусульман было «временно» прекращено. Вскоре Шаромов ушел вместе Вятичком Игруновым в созданную ими же партию САОН. Нашел себе другую работу и Азамат Романович. Словом, от прежнего «Цвета Яблока» после президентских выборов 2000 года очень скоро ничего и никого не осталось.

Наш с Колей Исламский клуб также доживал последние дни. За два неполных года существования нашего детища мы так и не нашли единомышленников и последователей. Да и, по правде сказать, не особо искали их.

Недавно пролистывая книгу Фариды Асадуллина «Москва мусульманская», изданную в 2006 году, я с удивлением прочитал, что в МГИМО успешно действует клуб исламоведов, организованный студентами. Двумя годами ранее на встрече в Исламском университете в Ташкенте, узнав, что я из МГИМО, меня первым делом спросили: «Какживает Исламский клуб?». Я не стал разочаровывать узбекских коллег и сказал, что превосходно...

Вода трапез



ЗЕЛЕНЕЕ ЗНАМЯ ЖИЗНИ: ИСЛАМ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА *Ирина Табарациян*

Мир настроенно глядит в сторону ислама. Множество людей ассоциирует само понятие «ислам» с международным терроризмом. Вместе с тем для многих очевидно, что ислам исторически породил высочайшую культуру, оказавшую чрезвычайно глубокое влияние на культуру и искусство Европы. Тем самым для человека, не желающего быть тенденциозным, возникает проблема адекватного понимания мусульманской культуры и духовности. С этой точки зрения нисколько не удивительно, что во всём мире и, в частности, в России наблюдается тенденция возрастания интереса к культуре арабоязычных стран. Первопричину этого интереса хотелось бы видеть не только в злободневности «мусульманской темы» и не только в любопытстве к «экзотике», но в потребности понять мусульманскую ментальность, осмыслить то положительное, что присуще ей. Однако отношение к мусульманской культуре и ментальности именно как к экзотике, более того, недоверие, враждебность и априорное неприятие ее атрибутов имеют давние корни: ведь много веков, вплоть до недавнего времени, всё, что мы узнавали о Востоке и, в частности, об арабском Востоке, преподносилось с позиции европейского взгляда на «неевропейскую», а значит, чуждую, непонятную, далёкую культуру.

Тем временем арабские страны играют сегодня всё более возрастающую роль в мировой политике и мировом хозяйстве. Обширная территория, занимаемая ими (13,8 млн. кв. км) протянулась от Атлантического океана на западе до Индийского океана на востоке, от Турции на севере до Тропической Африки на юге; население их составляет около 200 млн. человек. Лига арабских государств объединяет 21 суверенное государство и ООП (Организацию освобождения Палестины). Удивительно ли, что такая огромная общность народов, с чрезвычайно пёстрой, но объединённой эгидой общей религии культурой, притягивает к себе взгляды и мысли не только политиков, но и философов, людей искусства — наследников европоцентристской культурной традиции? Тем более что ещё с начала XX века у многих выдающихся мыслителей возникло ощущение «заката Европы» (О.Шпенглер), «посткультуры» (М.Хайдеггер, М. Фуко), и всё дальнейшее развитие общекультурной ситуации — в которую весьма кризисную ногу вносит масскультура — лишь усугубило эти тенденции. Особо остро на «тигель богов» (Р. Вагнер) реагирует молодежная культура, радикально разрушающая старых «идолов» и устремляющаяся за новыми — опять-таки на Восток...

Оставив в стороне тенденции масскультуры (по существу, антикультуры), сегодня можно говорить о том, что новейшая европейская культура испытывает потребность возврата к пракорням, лежащим в психической сфере «коллективного бессознательно», т. е. свойственных человеку как биологическому и духовному виду. Потруживаясь в поиск единых духовных ценностей, поиск вечных устоев — духовных и, шире, психических — она испытывает острый интерес к неевропейским культурам; при этом она не просто пересматривает свой взгляд на них, но впитывает их основополагающие элементы,

стремится как можно глубже осмыслить их роль в историческом развитии человечества. Ширится тенденция преодолеть горизонты европоцентристского мировоззрения. И в этом контексте арабская поэзия, живопись, архитектура, музыка, философская и религиозная мысль всё более раскрываются нам как нерасторжимое целое, из-под которого проглядывает свет высочайших мистических озарений человеческого духа.

В VII и VIII вв. арабами было покорено большое число народов, стоявших в культурном отношении несравненно выше самих арабов. Ислам стал религией народов Сирии, Месопотамии, Египта и Северной Африки.

Надо отметить, что философская, научная и религиозная мысль в арабском мире этого времени впитала в себя многое как от европейской античности, так и от древних знаний Востока: египетских, зороастрийских, иудейских и т.д. Европа оказывается сопричастна этой культуре как бы «чёрного хода» — она приобщается к ней посредством Крестовых походов и проигранных битв, в результате которых, в частности, значительная часть Испании надолго оказалась под мавританским владычеством. И... благодаря этому наука и философия античности находят путь обратно в Европу в усовершенствованном и дополненном открытиями мусульманских учёных виде. Собственно, Испанию в VIII веке арабам особо не пришлось завоевывать: в некоторых местностях население добровольно вставало на сторону завоевателей (сохранились легенды о благородном султане Саадине), обогащая страну новыми сельскохозяйственными культурами (сахарным тростником, пальмами, рисом и др.), высокопроизводительной техникой, способствовавшими росту и расцвету городов (Кордова, Севилья). Испания при мавританском правлении была процветающим государством. Когда же христиане вытеснили мусульман из Испании, страна погрузилась в длительный период упадка.

Культурные достижения ислама, сопряженные с высоким уровнем жизненных благ, с роскошью и богатством, не могли не вызывать зависть у воинственной и в большинстве своём весьма невежественной европейской знати, которая, в свою очередь, не могла не вызывать презрения у высокообразованного и изысканно-угонченного мусульманского «рыцарства». Не уступало в чужности и воинственности христианским рыцарям и священство. Так две великие религии, в сущности, черпающие из единого корня, встали на путь взаимной непримиримости, намеренного искажения и неверного истолкования религиозных положений и обрядов друг друга. Ислам стал заклятым врагом христианства — и наоборот. А тем временем мусульманская культура, несмотря на то, что, в конечном счёте, она оказалась вытесненной из Средиземноморья, исподволь проникла в Европу: именно здесь лежат корни таких явлений, значение которых трудно переоценить, как искусство менестрелей, как рыцарский культ служения Прекрасной Даме, как Мальтийский рыцарский орден и др.

В России же на протяжении её многовековой истории сложились особые отношения с народами мусульманского Востока, что отличает её от большинства европейских государств. При этом роль ислама как в истории государства, так и в исторической судьбе русского народа гораздо более значительна, нежели может показаться на первый взгляд.

Первые Русь столкнулась с исламом, когда арабы, завоевавшие г. Дербент, стали продвигаться на север и в 737 г. победили хазар, после чего каган Хазарии принял ислам. Именно в хазарских землях древние русичи в VIII—X веках впервые столкнулись с мусульманами-хазарами, а также с арабами. Третьим мусульманским народом, с которым у Древней Руси был длительный контакт, стали волжско-камские булары, принявшие в 921 году ислам. В 958 году Киевская Русь столкнулась с камскими буларами во время

похода в Булгарию князя Владимира. Известно, что князь Владимир, прежде чем принять христианство, не исключая возможности принятия ислама и для ознакомления с ним направил своих посланцев в Хорезм, где четверо из них стали мусульманами. Татаро-монгольское завоевание в 1237—1240 гг. включило Русь в необъятное государство потомков Чингиз-хана, а после его распада — в Золотую Орду.

У времён орданского правления заимствовались военная техника, доспехи, вооружение, методы ведения войны, способы управления, почтово-конная служба — ям, казна. По орданскому образцу стала организовываться армия России, которая стала состоять из пяти частей: большого полка (в центре), полков правой и левой руки, передового и сторожевого, — система всеобщей воинской повинности, вооружение и оснащение; дипломатический этикет, в частности, забота о послах и опека над ними, обязательность подарков. В русский обиход вошли многие орданские термины, как, например: атаман, богатырь, кинжал, кобура, денга, базар, бакалея, караван, магарыч, атлас, башмак, кайма, алмаз, бирюза, жемчуг и другие.

В XV веке почти все посторданские государства, за исключением Крымского ханства, были присоединены к Московской Руси. Восприятие некоторых обычаев степных ханов (например, название «младшего» сопратителя) обтегло внедрение татарской знати в русскую аристократию. Так, при Иване Грозном на тронных приёмах выносились три короны — московская, казанская и астраханская. В XVI в. отмечалось значительное влияние (позже уменьшившееся) Казанского ханства на быт и архитектуру Руси. Также было широко распространено ношение татарской одежды, что даже специальным решением осудил Стоглавый собор в 1551 г.

В 1787 году в типографии Российской академии наук в России впервые был напечатан полный арабский текст Корана, впоследствии переиздававшийся более пяти раз. А в 1800 году в России было разрешено печатать без ограничений мусульманскую религиозную литературу, чем и занялась специально открытая для этого в 1802 году типография в Казани.

Постепенно, к XIX веку Россия стала многоконфессиональной страной, к концу века насчитывающей мусульман — 18 млн. человек! Таким образом, можно говорить о высоких темпах взаимодействия культур России и ислама. Отметим, что ещё в XVIII в. отголоски мусульманской культуры как экзотики встречались в восточных мотивах архитектуры дворцового ансамбля Царицыно (архитекторы В. Баженов, М. Казаков). Из живописцев «классического», а точнее «передвижнического», направления середины XIX века отдал дань восточным мотивам в своеобразном «антимиаитаристском» ракурсе В. Верещагин. Отдельно надо сказать о том колоссальном воздействии, которое оказали на русских художников конца XIX века такие европейские художественные течения, как импрессионизм и постимпрессионизм — через них в отечественное искусство вошло восхищение ориентальным колоритом (М. Врубель, А. Бакст и др.). Не обошла «восточная мода» и музыку. В частности, уже на рубеже XX века обогащают восточными мотивами свои творения Н. Римский-Корсаков (симфоническая поэма «Шехеразада», музыкальная характеристика Шемаханской царицы в опере «Сказка о Золотом Петушке» по А.С. Пушкину), И. Стравинский (гомористический образ Арапа в балете «Петрушка») и др. Наконец, уже в советское, послесталинское время — начиная с 60-х годов XX века, расцветают теперь уже оригинальные национальные композиторские школы республик Кавказа, Закавказья и Средней Азии, воспринявшие достижения современных европейских профессиональных композиторских школ и талантливо синтезирующие их с коренной традиционной «европейской» музыкой.

К Корану и к учению ислама неоднократно обращались не только русские философы (П.Я. Чаадаев, А.Н. Толстой, В.С. Соловьёв, Г.П. Федотов), но и русские поэты и писатели (Г.Р. Державин, П.А. Катенин, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Полежаев, В.А. Жуковский, А.Грибоедов, П. Вяземский, В.Г. Бенедиктов, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Н.В. Гоголь, К.К. Случевский, К.М. Фофанов, А.А. Коринфский, М.А. Лохвицкая, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилёв и многие другие).

Надо сказать, что в российской культуре XIX в. сложилась прочная основа восприимчивости культуры, философии, особенностей религии и психологии мусульман.

Неслучайно виднейший лидер декадентов, крымско-татарский просветитель, педагог, писатель и публицист Исмаил Гаспринский (Гаспралы) в 1881 г. опубликовал книгу «Русское мусульманство», в которой выступал за сближение русских и мусульман, считая тех и других «детьми великой семьи народов нашего обширного великого отечества». Называя Россию «единственной посредницей между Европой и Азией, наукой и невежеством, движением и застоём», он пришел после шести лет своего пребывания в Европе и на Востоке к выводу о том, что русские относятся к мусульманам более «чуждому и чистосердечно», чем западные европейцы.

И совсем иное отношение к исламу у «русского» почвенного поэта Ивана Алексеевича Бунина. Его стихотворения мусульманской тематики весьма отличаются от стихотворений на те же темы предшествующих поэтов, писавших о Востоке, которые обращались более к ориентализму, нежели к реальной жизни. У Бунина — реальный Восток и, более того, поэт через описание восточных реалий выражал свою собственную духовность.

Для поэта ислам не являлся узко культовым понятием: в истории народов, их религий, их прошлых и настоящих культур Бунин искал ответы на жгучие вопросы современности и пути преодоления мировоззренческих противоречий. Для этого он предпринял многие путешествия по странам Востока, из которых самыми плодотворными оказались три поездки по странам Востока: в 1903 г., в 1907 г. и в 1910–1911 гг., — посетив различные города Турции, Египта, Сирии, Палестины и ряда других стран. При этом его очерки (в которых поэт часто цитирует Библию, Коран, индийские канонические книги) отразили не только непосредственные путевые впечатления, но и углубленные размышления, порожденные кризисом, охватившим в начале двадцатого столетия все сферы отечественной жизни, как общественной, так и индивидуальной, внутренней, затронув и экономику, и философию, и религию, и эстетику, и политику.

Художественным итогом путешествий поэта стали стихотворения, девятнадцать из которых объединены в цикл «Ислам» («Стихотворения 1903–1906 гг.», 1906 г.). В этих стихотворениях Бунин мастерски использовал мусульманские понятия, вмонтировав их в текст русского стихотворения прямой калкой с арабского языка (Коран) — «Разверни же, Вечный, над пустыней <...> / Книгу звезд небесных — наш Коран; / Элиф. Лям. Мим» — «И он сказал: «Девятой мой страшен, / Он — тайна тайн: Элиф. Лям. Мим»; (Аль-Кадр) — «Ночь Аль-Кадр... Сошлись, саялись вершины, / И выше к небесам воздымались из чалмы»; (Джаннат) — «В безбрежный блеск, за грань земли печальной, / В сады Джаннат уносит душу он» или «Он драгоценной яшмой был когда-то, / Он был неизреченной безлизы — / Как цвет садов блаженного Джаннат»; (Мухаммад), (Зейнаб), (Хамсин) — «Зейнаб, свежесть очей! / Ты — арабский кувшин; / Чем душнее в палатках пустыни, / Чем стремительней дует палящий хамсин, / Тем вода холоднее в кувшине»; (дервиш) — «На середине между ранним утром, / И вечерним сумраком встает / Дервиши Джалвети и на башне / Древний гимн, святой Тамджид поют»; (Мекка), (Ихрам) — «Но не страшись на рассвете увидишь ты Мекку, / И облечёшься в Ирам» — т. д.

По разным причинам не все слова правильно озвучены им на русском. Так, в слове «ихрам» поэт намеренно пропускает один звук (второй): «Но не страшись на рассвете увидишь ты Мекку, / И облечёшься в Ирам»). Но все арабо-мусульманские понятия им тонко вмонтированы в музыку русской речи. Бунин показал, что иноязычные слова могут органично звучать и восприниматься в русскоязычном стихотворении, не являясь в них чем-то посторонним, экзотическим.

Бунин вставляет в стихотворения даже целые религиозные формулы: (Во имя Бога и пророка) [БиСМи ЛьАЯХИ Ва РаСУАиХи] — «Во имя Бога и пророка, / Протги, слуга небес и рока», (Нет в мире бога. Кроме Бога) [Ля ИЛЛАХа ИЛляА ЛААХ] — «Молчи, молчи, — сказал он строго...»

Лишь имя архангела [Джибри] поэт всегда даёт по-русски (Гавриил) — так, как это имя звучит в Библии; видимо, чтобы сблизить восток с западной традицией. Так же, по-русски, автор называет пророка Авраама (в Коране — Ибрагим).

В стихотворениях, кроме явно используемых арабских слов, имеются и другие коранические понятия, которые скрыты в подтексте. Так, подробно Бунин описал стадию намаза в стихотворении «Тонет солнце, радным углем тонет...», такие, как, например, [Сажада] — земной поклон во время молитвы. В стихотворении «Сакон гор» [Лейла] — если говорить о явлениях природы, времени и [Лейла] — имя собственное, женское и др.

И, несмотря на это, что поэт признавал, что не является адептом ни одной из ортодоксальных религий, вместе с тем он вбирал мудрость всех учений, которые подвергал глубокому изучению. В этой связи интересен тот факт, что Бунин относился к любой религии — христианской ли, буддийской, мусульманской — как сочувствовавший ей в той мере, в которой она учит людей братству и равенству. Но однажды жена И. А. Бунина, В.Н. Муромцева, писала брату поэта, Юрию Алексеевичу: «Ислам вошел глубоко в его душу».

Неслучайно об Иване Алексеевиче Бунине, русском поэте начала XX века, сегодня можно услышать как о «главном «мусульманине» русской поэзии» («Литературная газета», № 9, 2005 г.). Более того, если побывать на мусульманских сайтах в Интернете, можно убедиться, что мусульманский мир в России считает Бунина «своим» поэтом. И это неудивительно: ведь у него есть много произведений об арабской культуре, и в том числе — полюбившееся русскоязычным мусульманам стихотворение «Зеленый стяг».

Сегодня мусульманское понятие «джихад» ассоциируется с непримиримой войной против «неверных». Бунин в своём произведении «Зеленый стяг» подражает тому значению слова «джихад», которое в Коране определяется как духовная битва за чистоту помыслов.

«Зелёный стяг» — священное знамя ислама. Вначале это была повязка, надевавшаяся поверх чалмы, одного из приверженцев Мухаммада. После одной из битв он распустил её и водрузил на пике как знамя. Это знамя хранится в сокровищнице турецких султанов. Его в свернутом виде возили в походы, в которых участвовал султан, и разворачивали лишь в самые критические моменты.

В этом стихотворении поэт олицетворяет священное знамя ислама, симвоизирует его, представляя его старцем, неким почётным алимом, так и называет (по-турецки) — Эски: «Ты почтнее в ларце, в драгоценном ковчеге, / Ветхий денями Эски, / Ты, слышавший на брань и святые набоги / Чрез моря и пески» и подчёркивает святость зелёного стяга для мусульман, напоминая: «...сердца покорила ты навек. Не тебя ли над главою Пророка / Воздвигал Гавриил?» (Гавриил, по легенде, возглавив отряд конных ангелов, пришёл во время сражения на помощь Мухаммаду в битве при Бадре). «И не ты ли царил на Востоке доныне? / Развернись, восстань...» — поэт как бы предвосхищает будущее, считая, что возрожде-

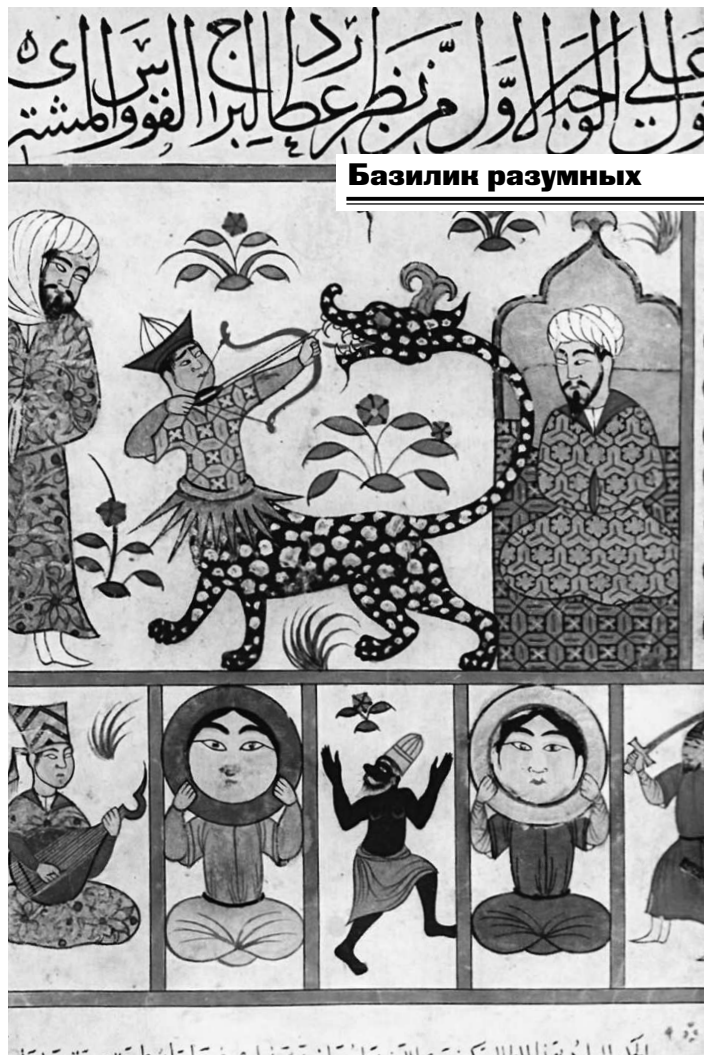
ние духа непременно осуществится, что знамя жизни всё-таки живо, его только развернуть. «Разерзния, восстань — / И восстанет Ислам, как самумы пустыни, / На священную брань!» — этими строчками Бунин вызывает у современников-читателей воспоминание о святом, о духовном, говоря теперь о знамени не просто как об исторически дорогом куске материи, имеющем отношение к Пророку, к первым мусульманам, а как о знамени жизни, о человеческом духе, намекая на высокое предназначение человека вообще. Бунин верит, что это знамя духовности ещё живо в людских сердцах, и потому в следующих строчках откровенно горячо восклицает: «Проклят тот, кто для жизни не дышит! / Проклят тот, кто утас! / Для молитвы и битвы, / Кто для жизни не дышит. / Как бесплодный Геджас» (Хиджаз — так называлась Западная часть Аравии, где находятся главные святыни ислама). Сравнение с пустынной, как бы безжизненной, застывшей в неактивности Аравией здесь неслучайно («Как бесплодный Геджас»), ибо жизнь, по Бунину, — это движение.

В этом стихотворении, как и во всём бунинском творчестве данного периода, пронизанном поисками утраченного рая, валкуцими поэта во все его путешествия — на Восток, к древности, Бунин ищет ответ на вопрос: куда идти, что искать, как спасти человечество от потерянности, богооставленности. В связи с этим он напоминает о Судном Дне, где, как единогласно вторят и Тора, и Евангелие, и Коран, будет вестись спрос с людей за их дела: «Ангел Смерти сойдёт в гробовые пещеры, / Ангел Смерти сквозь тьму / Вопрошает у мёртвых их символы веры: / Что мы скажем ему?». Здесь явный намёк на рубеж веков, на современную Бунину действительность и, конечно же, на вечность, о которой Бунин часто думал. Что скажем мы, заблудившиеся, потерявшие идеалы прошлого? Автор стихотворения говорит: «Проклят тот, кто утас для молитвы и битвы», — имея в виду не просто молитвы и битвы, а ту устремлённость ввысь, духовное бдение, которые помогают вести поиск общечеловеческого смысла жизни. Следует отметить, что битва или борьба (по-арабски «джихад») — понятие, не относящееся к пяти столпам мусульманской веры, но непосредственно примыкающее к ним. Согласно Корану — важная обязанность, которая означает любое усилие, направленное на распространение истины, и не имеет ничего общего с войной. Хотя именно война в защиту религии ислам и получила имя джихада, являясь одной из разновидностей этого понятия.

Законоведы-факихи подразделяли джихад на несколько видов: «джихад сердца» — борьба со своими собственными недостатками, «джихад языка» — разрешение одобряемого и запрет порицаемого, «джихад руки» — наказание преступивших закон и нравственные нормы, «джихад меча» — битва с неверными, павшие в которой обретают вечное блаженство. К сожалению, и терроризм сегодня называют джихадом. В «Зелёном стиге» Бунин подчёркивает, что смысл жизни — подняться на духовный подвиг, и это выход из кризисной ситуации. Он предлагает поднять знамя глубокой, искренней, очищающей веры, призывая к битве с собственным неверием в высшие идеалы.

Бунин стал первым русским поэтом, столь глубоко проникнувшимся психологией и духовным миром восточного человека. Никто другой не передавал столь точно и подробно информации о религиозной культуре мусульман через поэтические строки. Это высочайший поэтический синтез Востока и Запада. Память о вечных ценностях, по мысли Бунина, даёт современному человеку возможность вернуть утраченную духовную гармонию, «осознать божественное величие вселенной»*.

* Бунин И. А. Собр. соч. М., 1996. — Т. IV. С. 277.



«ТАНЦУЙ — СОРВАВ БИНТЫ...»

Рецензия на книгу: Колман Баркс. Суть Руми / Пер. с англ. С. Сечива. М.: Гаятри, 2007. — 672 с.

Павел Башарин

В связи с 800-летием со дня рождения крупнейшего иранского поэта и философа Джалала ад-Дина Руми (1207–1273) 2007 год по инициативе Турции объявлен ЮНЕСКО «Годом Руми». По всему миру в крупнейших институтах и университетах проводятся конференции и семинары, выпускаются новые переводы сочинений Руми, публикуются научные и научно-популярные монографии. Видимо, в связи с этой датой и была осуществлена перевод книги Колмана Баркса «Суть Руми» на русский язык.

К. Баркс — современный американский поэт, долгое время был профессором в университете в штате Джорджия. В 1976 году он начал переводить Руми. Кроме тринадцати книг переводов, К. Баркс выпускает CD и фильмы на тему поэзии Руми, часто выступает с концертами, на которых читает и поет свои переводы. Казалось бы, переводчик должен хорошо знать о творчестве и жизни поэта, с творчеством которого связано более тридцати лет жизни.

Однако уже в первом предложении своего предисловия к книге К. Баркс делает ошибку, ставя ударение в имени Руми на первом слог, видимо, по подсказке какого-то арабиста. Дальше количество фактических ошибок возрастает с каждым абзацем. По мнению переводчика, отец Руми, Баха ад-Дин, был потомком Абу Бакра (на самом деле, это лишь один из сюжетов предания о жизни поэта) переехал в Конью, предвдидя монгольское нашествие (на самом деле, в связи с гонениями со стороны хорезмшаха Мухаммада, он с семьей вынужден был бежать в г. Караман, а затем, по приглашению сельджукского султана Ала ад-Дина Кейкубада I переехал в Конью). Дело в том, что многие детали биографии Руми являются легендарными, имевшими хождение в биографической суфийской литературе, начиная с «Манакыба» Афлаки, первого биографа Руми. Несмотря на это, подлинная биография мыслителя уже давно хорошо известна мировой науке. Для статьи, претендующей на точное изложение биографии Руми, подобные ошибки недопустимы.

Далее. Неверно переведено знаменитое изречение Абу Йазид ад-Бистами: «О, как велики мои заслуги» (правильно — «Преславлен я, преславлен, о, как я велик!»), Саладин Зеркуб вместо Салах ад-Дина Заркуба. Переводы с арабского и персидского, приводимые во вступительной статье и комментариях, как правило, ошибочны, транскрипция их неверна (например, кутб-и хама машуган («полос всех возлюбленных» (перс.) переводится, как «посох возлюбленного», перевод для ур как «духовный брак» (правильно — «искренняя дружба»), заук как «запах» (правильно — «вкусение»), джемла «красивый» (правильно — джамал «красота»), джелал «сильный, могущественный» (правильно — джалал «могущество»), зикр — «умная (sic!) суфийская медитация», перевод «Маснавий-и ма нави» («Духовные двустия»), как «Духовные Куплеты», совсем уже недопустима переименованная переводчиком шахада «Ая'илаяха иль'Аллаху» («Нет иной реальности, кроме Бога; есть только Бог»), вместо «Ая илаяха иля-А-Лаху» (или

«Ая илаха ила-А-Лаху») «Нет бога, кроме Бога»). На фоне этих ошибок несуразные формулировки, типа определения зикра как «непрерывного напоминание себе, что Бог един» уже не замечаются. А утверждения о том, что трактат Руми «Фи-хи ма фи-хи» («Здесь есть то, что есть»), назван «с восхитительным юмором», вызывают, в лучшем случае, недоумение.

В предисловии о составлении предлагаемой книги и ее задачах, К. Баркс противопоставляет свое изложение творчества Руми принятому в академических кругах, где его произведения распределяются по жанрам, как выражается сам К. Баркс, «пакуются в стандартные коробки». Подобная манера, по мысли переводчика, чужда и враждебна самой мудрости суфийского духа, который нельзя заключить ни в какие рамки. Всю книгу переводчик поделал на двадцать семь тематических разделов, каждый из которых носит оригинальное название. В каждый из разделов входят стихотворные произведения различных жанров (маснави, газели, рубай). При этом они сгруппированы по внутренним соображениям самого составителя и практически никогда не попадают в тему приоритетной главы. Каждому стихотворению К.Баркс присваивает придуманное им самим индивидуальное название. Задачей автора, как сформулировала ее мотр К.Баркса Н.Бай, было не переводить Руми, а «выпустить из клеток» переводы Р.А.Никольсона и А.Арбери — двух виднейших востоковедов, которым принадлежат лучшие переводы Руми на английский язык. Сам К.Баркс определил своей генеральной задачей перефразировку сухого «британского английского» А. Арбери на американский манер. Чем же не устраивают К. Баркса переводы предшественников? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к ним самим. Возьмем введение к притче об Адаме и Дьяволе:

Посмотрим, чем виденье Божье На человеке непохоже.	Мы смотрим вспять и осуждаем То, как Адам расстался с Раем!
Мы часто задаем вопросы: «Зачем живем мы, как отбросы?»	Вперед же видеть неспособны, Тут мы кротам слепым подобны!
«Как мог я — человек невинный — Жестоким быть, как идол медный?»	Нам не понять при всем желании Суть двустороннего виденья —
Да, совершаем мы проступки, Но многие из них — проступки!	Предбудущего открывенье, Плюс миновавшего везенья!
Насколько же в земной юдоли Вольны творенья Божьей воли?	Мудр Бог, а не рационален! Мир алогично гениален!

(Маснави 1.1480–1487. — С. 74)

Вот эти же строки у Ю.А. Ионнесяна:

Деяние Истинного и деяние наше, оба узры,
деяние наше бытию почти, очевидно сие.
Если не бывают поступки людей налицо,
тогда не говори никому: «Почему сделал ты так?»
Сотворение Истинного поступки наши создает,
поступки наши суть следы сотворения Поклоняемого.
Речистый или слово увидит, или умysel,
как ему сразу охватить две акциденции?
Если за замыслом пойдет он, то станет беспечным о слове,
вперед и назад не посмотрит сразу ни один взгляд.
В то время как смотришь ты вперед, тогда
как ты увидишь то, что позади тебя? – Это признай.
Поскольку не объемлет слово и смысл [одновременно] душа,
как быть душе творцом сих двух реальй?
Истинный объемлет все, о сын,
не удерживает одно дело Его от дела другого.

(Руми. Маснави-йи ма'нави // Перевод Ю.А. Ионнесяна. – СПб, 2007. – С. 114–115).

Данное сравнения в полной мере демонстрирует манеру К. Баркса. В его переводе нет и следа первоначального смысла – противопоставления воплощенного слова и скрытого в нем замысла, непостижимого с помощью дискурсивного знания. Это один из основных постулатов философии Руми. Ничего и близкого к этому в переводе К. Баркса нет. Вместо этого в перевод привнесено большое количество образов, придуманных самим составителем. Наконец, завершается приведенный пассаж совершенно непонятно откуда взявшимся изречением о том, что мир «алогично гениален», более близким к некоему азен-буддисткому коану (изречению, краткой притче или вопросу парадоксального характера), чем к мысли Руми.

Уже из приведенного перевода видно, что К. Баркс не слишком затрудняет себя тем, чтобы его перевод занимал столько же байтов, сколько их имеется в оригинале. Но дело далеко не ограничивается нарушением оригинального количества двустопиш в маснави. Жанр маснави не диктует поэту строго нормированное количество байтов. Гораздо большее недоумение вызывают рубли, которые оказались свыше четырех строк, или, наоборот, были сведены к двустопиши. Сравним ситуацию с рубли самого популярного в России и Европе персидского поэта Омара Хайяма. Несмотря на появление за последние годы массы его переводов, весьма далеких от совершенства, ни одному переводчику все же не пришло в голову выйти за пределы классического четверостишия. О таком переводческом «новаторстве» даже не заходит и речи, как и том, скажем, чтобы превратить японскую танка в оду Державина и тем самым облегчить понимание японской поэзии русскому читателю. Сама мысль об этом в среде российских любителей восточной поэзии воспринималась бы почти как богохульная. Более того, хорошо известно, что средневековые восточные (как и традиционные западные) системы стихосложения складывались в течение многовекового культурного отбора, и следование формальной

строгости было показателем просвещенности поэта. По словам А.Е. Бертельса, который перевел и прокомментировал трактат о поэтике Вахида Табризи «Джам'и мухтасар», «основные правила стиха заучивались наряду с грамматикой с детства, и никто не помышлял выйти за их рамки, поскольку это считалось безграмотностью».

Цитированное выше маснави у К. Баркса озаглавлена «Пустота», поскольку притча завершается у него стихами: Мы – мира пустота! / Мы Божья красота! (Маснави 1. 1487. – С. 77). Буквальный же перевод: Кто мы в этом мире закрученном? / – Как [буква] алиф [мы] А у нее самой что есть? / – Ничего, ничего. (Руми. Маснави-йи ма'нави // Перевод Ю.А. Ионнесяна. – СПб, 2007. – С. 116). Здесь налицо явное смысловое противоречие с подлинником. Заметим, что аллюзии на пустоту присущи переводам К. Баркса. Например: «Гимн пустоте», «Пустота и мастерство», «Стань пустым». Подобные названия обращают нас не к мусульманской мысли, которой была неизвестен феномен пустоты, а к буддийской или даосской философии. Подобны этим названиям и другие заголовки. Многие из них («Создай свою легенду», «Сегодня нет в календаре» и т. д.) больше похожи на названия популярных музыкальных западных альбомов эпохи 70-х – 80-х гг.

Ряд названий вызывают просто недоумение («Нырещ» – стихотворение из «Дивана» Руми). Визу дается пояснение, что загадочный неологизм «нырещ» следует понимать как разговорное от «нырятьщик» (непонятно только, почему «нырещ», а не «нырун» или «зыныриватель»). Примечателен и подзаголовок к стихотворению («Медленный вальс»). Нельзя допустить, чтобы К. Баркс полагал, что классическая персидская поэзия включала в свой репертуар сочинение стихов для вальсовых мелодий. Всем известно, что никаких вальсов в мусульманском мире не было. Показателен сам «перевод»:

Да, ты здесь, среди тьмы,
Но бродит в полях зарей
Зверь, которого мы
Загоним любой ценой.

(Диван Шамса Табризи 2693. С. 126)

Это уже даже не вальс, а песня из репертуара группы «Кино», «Зоопарк» или «Аквариум». Довольно странно выглядит и перевод одного из рубаи:

Вечор, на рауте официальном
светильников был очень ярк свет.
Обнять тебя не мог я и печально,
Губами тронул, прошептал секрет.

(Рубаи 1035. С. 216)

Этой стилизации под русскую поэзию начала XIX в., напоминающей начало станса, мы, видимо, обязаны уже не К. Барксу, а его переводчику С. Сечиву, то есть местами уже и сам перевод К. Баркса подвергается трансформации со стороны переводчика на русский язык его «облагченных» переводов Руми. В этих случаях от Руми уже совсем ничего не остается.

Контекст переводов К. Баркса — контекст субкультуры американских неформалов и религиозных воззрений в духе «ню-эйдж». Наиболее показательные следующие строки:

Я не буддист, не последователь Дзен, не суфий...

В данном случае С. Сечив ссылается на перевод Д. Самойлова:

Я чужд Христу, исламу чужд, не варвар и не иудей.

В связи с этим стоит ли говорить, что перевод К. Баркса часто игнорирует самые основные реалии мусульманского мира. Например, в его переводах встречаются мусульманские монастыри (при запрете монашества в исламе). При чтении не оставляет ощущение, что переводчик нарочито выбирает варианты, наиболее чуждые картине мира Руми, но понятные современному американцу:

Танцуй — сорвав бинты!
 Война и секс бесперспективны.
 Я воин, а не мастурбатор неловкий!
 Секс — жернов на шее!

Между тем сам К. Баркс пишет о своем опыте причащения духа суфийской мудрости под руководством шейха: «Мой суфийский наставник Бава Мухаздин, увидев меня впервые и узнав, что моя фамилия — Баркс (англ. «лай»), завял по-вочли, давая мой первый урок». Бава Мухаздин — шриланкийский святой из Филадельфии. Вот откуда у К. Баркса буддийские мотивы. Следует напомнить, что среднему американцу суфизм очень часто знаком в форме ню-эйджевской мистической доктрины Идрис Шаха, попытавшегося провести ревизию суфизма через сознание западного обывателя 1970–80-х годов.

В итоге возникло представление о суфизме, как о некоей мистической парадигмальной альтернативе западноевропейскому рацио. Деятели этого движения попытались показать, что мистическая мудрость является общемировой константой, а значит, временные и территориальные рамки, в которых пребывает конкретный индивид (т.е. то, что М. Хайдеггер называл «картиной мира»), не являются препятствием к ее обретению. Таким образом, стать суфием может как магрибинский аскет XVIII-XIX вв, так и водитель-дальнобойщик из штата Иллинойс. Идрис Шах писал по этому поводу, что суфизм может быть даже «ваш сосед по лестничной клетке». В результате этого в США и Европе в последние десятилетия возникло большое число суфийских общин, состоящих из простых западных обывателей, черпающих восточную мудрость из проповедей своего шейха, часто араба или пакистанца, но имеющего о суфизме довольно туманные представления (особым феноменом в США стали общины чернокожих суфиев, сочетавших импортную мудрость с вудуистскими ритуалами). Видимо, такой же характер носило и послушание К. Баркса.

Ряд переводов частично взят переводчиком К. Баркса С. Сечивом из переводов «Маснави» В. Державина, Д. Самойлова. Это и есть самая выигрышная часть книги.

Переводы К. Баркса были подняты на шит американскими теле- и радиопрограммами, проданы в США огромным тиражом, заняли место в двадцатке журнала «Бил-

борд». Голливудские звезды записывают музыкальные альбомы на стихи Руми ко дню... св. Валентина. С. Дж. Паркер (звезда нашумевшего сериала «Секс в большом городе»)... занимается аэробикой под рок-н-рольные песни на якобы слова Руми. А рядовые американцы слушают якобы Руми в метро для преодоления стресса. Руми, по выражению еще одного его переводчика и фаната (именно это слово подходит к данному контексту), — «средневековый мулла... преподававший в городишке, который был столицей Турции», ныне самый популярный поэт в США. Поистине огромна «честь», оказанная какому-то темному мулле из заштатного городишки (имеется в виду, конечно, блистательный город мусульманской ойкумены — Конья, родина великих ученых, полководцев, поэтов и мистиков. И впрямь, куда ей до Нью-Йорка или Лас-Вегаса, где один игровой стол стоит больше, чем казна Османской Порты. И американский обыватель допускает Руми к чести служить американской нации и быть для нее более дешевым средством, чем дорогостоящие препараты от депрессии и скуки. На обложке книги можно прочесть потрясающую формулировку о том, что Руми — «самый читаемый исламский автор после Мухаммада». Из великого мыслителя, которого сама мусульманская культура поставила на один уровень с Божественным Откровением, он превращен в уютное, комнатное создание. Под «его стихи», приводимые в экстаз мистиков, которые, согласно преданию, могли сдвигать горы при помощи молитв, ныне выделяются акробатические этюды поразившие своей пошлостью весь мир голливудские актрисы. Оперу на слова «его стихов» поет сама поп-дива Мадонна...

Руми стал своеобразной инсталляцией в западном парке аттракционов. И главная причина этому, видимо, — раздвоенность восприятия мира в современном западном постмодернистском сознании. В голове у среднестатистического американца не в состоянии ужиться два образа ислама, противоположных по сути: ислам Бин Ладена, террористов и мракобесия и ислам светлого гения Руми. Запомнится реплика К. Баркса, приведенная в одном из послесловий к рецензируемой книге, обращенная к Л. Тираспольскому: «Вчера Ваши суфисты опять взорвали автобус с детьми».

Отсюда есть только один выход — либо признать ислам более сложным явлением, чем он представлялся до этого, либо надеть на Руми милые ушки забавного мышонка Микки-Мауса, продемонстрировав тем самым, что он свой. Постмодернистский мир выхоластил поэтику Руми, вложив в его напев умоуловившие уста этические максимумы глобалистского сознания. Думается, что рецензируемая книга интересна именно как образец низведения самого высокого, что оставила нам мировая культура, до банальной пошлой игрушки в руках святого и самодовольного обывателя. Руми начинает уже восприниматься как рекламный бренд.

И напоследок, переводами К. Баркса увлекаются не только обыватели и домохозяйки, но и большое количество немусульманских служителей культа — пасторов и раввинов. Привычная уже секуляризация проникла и в сферу богословия. В связи с этим можно вспомнить скандальную передачу Библии западными феминистками, где уже сам Бог назван не только Отцом, но и Матерью.



РОМАН ОБ ИСЛАМЕ

Рецензия на книгу: Ренат Беккин.
Ислам от монаха Багиры. М: Кислород, 2007. – 240 с.

Андрей Керзум

В середине XIX в., в эпоху торжества позитивизма на фоне ошеломляющих успехов в освоении поверхности (и не только поверхности) Земли, возник литературный жанр, известный как «географический роман». Его виднейшие представители — нам с детства известные Ж. Верн и Л. Жакомо. Их задача заключалась в ознакомлении читателя с новейшими достижениями географии и иных наук в увлекательной приключенческой форме.

Позже, в конце позапрошлого столетия путешествия в пространстве дополнились путешествиями во времени, отражая тогдашние успехи в области археологии и древней истории. Достаточно вспомнить романы Г. Эберса. И в первом, и во втором случаях «упаковка», т.е. художественная форма, была подчинена просветительской сверхзадаче.

Уже в XX в. в связи с успехами культурологии возник жанр своего рода «культурологического» путешествия. Характерно, что он принял форму популярнейшего вот уже сто лет детективного жанра. Это, прежде всего, Р. Ван Гулик и У. Эко. К этому же типу сочинений относится работа Рената Беккина. Это тоже «культурологическое путешествие», представленное в виде детектива. Однако в отличие от произведений Ван Гулика и Эко, фоном сделано не прошлое, а будущее. Такой поворот придает роману «Ислам от монаха Багиры» дополнительную пикантность. Возникает ассоциация со «вторым путешествием марсиан» Стругацких.

Поскольку детективный характер романа — лишь упаковка, нет необходимости подробно рассматривать достоинства и недостатки сюжета. В любом случае сюжет в «Исламе от монаха Багиры» ничуть не хуже, чем у наших нынешних прославленных детективщиков и детективщиц (имя им — легион). Поиск пропавшей, или спрятанной, суперрукописи — дело известное. Достаточно вспомнить Б. Акунина. Главное в книге — ее культурологическое содержание. И здесь автору равных нет. Немного найдется писателей, читавших энциклопедический словарь «Ислам» или специальные работы, посвященные шариату, не говоря уже о подлинных памятниках мусульманского права. При том, что ислам сегодня — большая реальность, чем древнеегипетская история для конца XIX века, а межкультурный диалог — императив сегодняшнего дня.

Представляется, автор блестяще справился с поставленной им самим задачей — создать учебник по шариату в форме детектива. Надо обладать огромными знаниями для такой работы, понимать и любить сущностные принципы мусульманского права, чтобы выразить их в столь доступной форме.

В романе «Ислам от монаха Багиры» можно обнаружить все основные аспекты исламского правоведения — начиная от дефиниции самого права до рассмотрения отдельных случаев правоприменения, что, собственно, и является основной канвой. Очевидно, автор свободно владеет как русским, так и арабским языками, хорошо знаком как с шариатом, так и иными правовыми системами.

Роман «Ислам от монаха Багиры» достойно продолжает традиции «научного романа», занимателен по форме, чрезвычайно познавателен, по сути своего содержания аналогов он не имеет.



الدُّعَاءُ
الْمُبْتَدَأُ